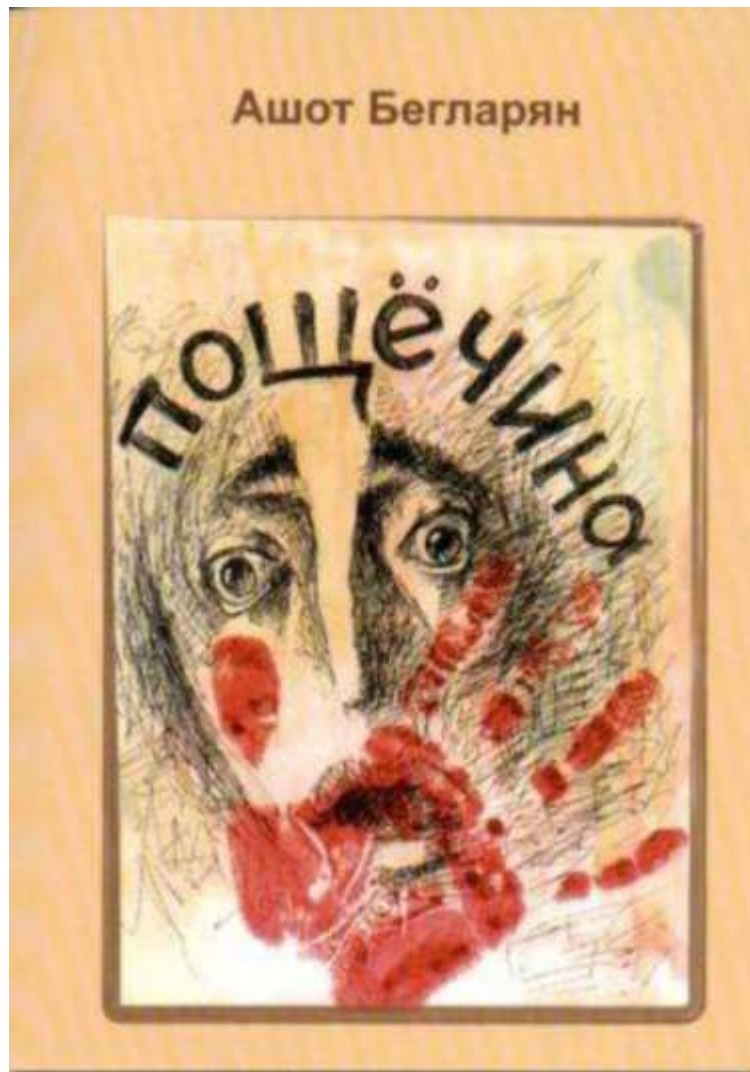


*Ашот Бегларян*

## *Пощёчина*

*Юмор и сатира*



*Ереван*

*2007 г.*

## Сосиска

Накануне вечером почтальон принёс ему небольшую бандероль от старого друга из периферии. В ней оказалась горсточка муки и скупая записка: «Дорогой Григор, мужайся! Твой Мукуч».

«Что бы это значило?» – шёл и думал Григор Мушегович Каркарян.

Была ли это новогодняя шутка или что-то другое, но, исколесив с утра чуть ли не полгорода, Григор Мушегович ни в одном из «хлебных» не увидел хлеба. Длинные очереди выходили далеко за пределы магазинов.

В поисках исчезнувшего хлеба Каркарян оказался на улице Царя Врама Шапуха. Улица медленно покрывалась снегом...

Не поворачивая головы, Григор Мушегович покосился налево, и правая бровь его, подпрыгнув, застыла в неестественной позе. Чудная картина предстала взору преподавателя латинского языка: синий от холода красавец с лихо подкрученными усами джигита стоял в гордом одиночестве на фоне высоченной горы из сосисок.

Теперь уже правым глазом Каркарян покосился на дощечку с красными знаками: «1 кг – 55 р.», и брови его сошлись у переносицы.

«У-у !.. » – мысленно произнёс он и прошёл мимо.

Через несколько шагов подумал: «Взять, что ли, полкило?» – повернул обратно и снова покосился на ценник.

– Продаёте? – скорбным голосом спросила пожилая женщина рядом с Григором Мушеговичем.

– Нет, только показываем, – отшутился продавец и почему-то заговорщически подмигнул Каркаряну.

«Ну его к чёрту! Дороговато! Обойдётся без сосисок», – решил Григор Мушегович и сделал поворот на сто восемьдесят градусов.

Но тут вспомнив, что новогодние яства, запас которых он со своей старушкой доедал эти два дня, исчерпались и к ужину нечего будет приготовить, решил: «Возьму!», повернул было обратно, однако, поймав на себе насмешливо-сочувствующий взгляд синего продавца, вошёл помимо своей воли в двери ювелирного магазина напротив.

– Ба! Григор Мушегович! – плотный мужчина в чёрном на меху пальто стиснул его в свои объятия. – С Новым годом! Сколько лет, сколько зим!

Каркарян едва узнал своего бывшего коллегу по университету, вовремя покинувшего храм науки и открывшего у себя на дому небольшой цех по шитью обуви.

– Ну, как самочувствие? – спросил сапожник, словно у больного, но быстро поправился. – А ты всё молодеешь, смотрю! – здоровая улыбка играла на его лице.

Оправившись от первой неожиданности, Григор Мушегович рассыпался в ответных любезностях.

– Вот, прохожу – а там сосиски продают, – бывший коллега поднял пузатый целлофановый пакет. – Недорого! Советую как друг – бери.

– Спасибо...

«Недорого, говоришь, дружище?! – спросил себя Григор Мушегович, когда собеседник удалился. – Видал: был сапожником, выбился в люди – стал доцентом, теперь снова подался в сапожники?! Конъюнктурщик! Зато – Человек!!! А чем я хуже? Разве я не человек?.. »

Он вышел из магазина, пошевелил сердито бровями и подошёл к усатому продавцу.

– Два кило! – предварительно откашлявшись для важности, заказал он.

Длинная цепочка сосисок компактно уложилась в целлофановый пакетик. Красавец продавец в качестве новогоднего презента положил вдобавок ещё одну сосиску.

– Спасибо!

– На здоровье!

«То-то!» – удовлетворённо подумал Каркарян и направился к трамвайной остановке.

Удобно разместившись и пощупав кончиками пальцев упругое тело сосисок, Григор Мушегович заметил про себя: «Тепло как... аж ко сну тянет. Эх, измаялся же сегодня с этим хлебом... Где достать – вот задача?!»

– Ничего, за граница нам поможет! – словно в ответ на его вопрос откуда-то сзади донёлся чей-то ленивый голос.

– Ты опять за своё! Слушай, когда будет стипендия? У меня даже на хлеб не осталось, – жаловался в ответ кто-то.

– Стипендии твоей на хлеб едва ли хватит. Не те времена – либерализация, брат: теперь за ценами не угонишься, хоть галопом скачи... Эй, смотри, что это такое? – ленивый голос вдруг оживился. – Что за чудо?!

Григор Мушегович невольно обернулся. В заднем ряду сидел маленький, оборванный старикашка в очках без стекол. Заметив внимание к своей персоне, он ослабил, обнажив два-три гнилых зуба, и начал медленно, вполголоса ныть.

– Строили, строили, вот тебе и достроились, – Григор Мушегович ловил обрывки его фраз. – Обещали, обещали, бессовестные... Такую страну развалили...

«O tempora! O mores! – О, времена! О, нравы! Ну и жизнь пошла... Скоро вообще голыми по городу станут ходить, – думал преподаватель латинского языка, глядя в окно. – О, Боже, где же выход – укажи... »

Снег за окном стал мельче. Трамвай, как показалось Григору Мушеговичу, сильно сбавил ход. Неподалеку от рельсов маленькая девочка лепила снежную бабу. Увлёкшись работой, она неожиданно поскользнулась и бухнула лицом в сугроб.

Поднявшись, девочка удивлённо воскликнула:

– Сладкий-то какой!

Взяла в горсть снега и решительно поднесла ко рту.

– Сахар? Сахар! – радостно закричала девочка.

Водитель резко затормозил. Пассажиры с гиком выбежали вон из трамвая. Только один Григор Мушегович никак не мог оторваться от сиденья – неведомая сила приковала его к месту. Он вынужден был наблюдать за развернувшейся за окном драмой из трамвая.

Сначала неуверенно и робко, затем всё смелее и смелее люди набивали себе карманы, шапки, рукавицы, засыпали за пазуху сахарный песок. Старик с пустой оправой даже носки для этой цели снял.

Вслед за сахаром сверху посыпались крупа, рис, пшеница, чай...

– Дорогая, сними бюстгальтер, – уговаривал муж жену, – не пропадать же добру!

– Гражданин, у меня талоны на рис не реализованы с прошлого года, одолжите вашу ёмкость! – здоровенный мужчина вырывал шапку у небольшого лысого человека.

– Товарищи! Не деритесь, всем хватит! – срывающимся от волнения голосом кричал плюгавый старикашка, набивая футляр из-под очков без стёкол. – Коммунизм! Коммунизм! Вот он, родименький, пришёл! Дождались!

С неба посыпались какие-то свёртки, пакеты, коробки.

– Беги, позвони Вачику, пусть машину с ребятами подгонит! И мешки чтоб не забыли прихватить! А я за нашей зоной присмотрю, чтоб никто не лез! – кричал товарищу юноша с растрёпанными волосами.

Появился сержант милиции. Ловким движением фокусника подхватив на лету какую-то коробочку и проворно спрятав её в карман, сержант с нарочитой строгостью произнёс:

– Граждане, прекратите самодеятельность и выложите содержимое ваших котомок на асфальт! Скоро сюда придёт государственная комиссия и решит все вопросы, связанные с распределением продуктов.

Но никто его не слушал.

С шумом затормозил грузовик: из кузова десантировалась бригада молодцов с мешками и энергично заработала лопатами.

Кто-то уже сооружал из подручных средств «стол», чтобы как только прекратится «манна небесная», сразу же начать торговлю.

Две почтенные матроны вцепились друг другу в волосы из-за пачки импортного кофе. Чей-то парик валялся на снегу.

– Граждане! Прекратите безобразия! – снова попытался призвать к порядку сержант.

Однако старик в оправе, увлечённый работой, проползая мимо на четвереньках, невзначай сбил блюстителя порядка с ног. И не думая извиняться, старик маслено улыбнулся и, видимо,

осенённый новой идеей, неожиданно легко для своих лет вскочил на ноги и с хищной рожей подбежал к снежной бабе. Грубо оттолкнув девочку, которая, не замечая происходящего, уже приделывала своему нехитрому творению нос-щепку, старик схватил снежную бабу и убежал. Девочка отчаянно заревела, но никто не обращал на неё внимания...

Вдруг на горизонте показалась небольшая чёрная точка. Она приближалась, принимая человеческий облик. А через минуту все ахнули, узнав загадочного гостя.

– Ты кто? – тем не менее спросил чей-то грубый, недоверчивый бас.

– Джордж Буш, президент США, – ответил высокий поджарый господин в чёрном. – Это наши вертолёты засыпали вас продуктами. Мы хотели помочь вам, но, увы, вы оказались не готовы...

Григорий Мушегович открыл глаза. Трамвай был почти пуст. Целлофанового пакета рядом не оказалось. На полу сиротливо валялась сосиска. Каркарян огляделся, поднял её и, спрятав в карман пальто, направился к выходу какой-то пришибленной походкой.

Поднявшись к себе, Григор Мушегович тайком от старушки завернул сосиску в фольгу и вывел на небольшом клочке бумаги: «Дорогой Мукуч, крепись: Джордж Буш нам не поможет!»

Наутро, высоко и подчёркнуто гордо неся свою изрядно поседевшую голову, Каркарян направился в сторону почты...

*1992 год*

## Скрытые резервы

День для новичков урологического отделения начинался клизмой, после чего следовали судорожные поиски свободного туалета.

Облегчившись, Аршак вернулся в палату и, растянувшись на скрипучей койке, задумчиво уставился в сизый, облупившийся от сырости потолок.

Сосед слева – Хачик, мерно посапывал во сне, а справа, уткнувшись лицом в подушку, безмолвно извивался в судорогах толстый бородатый мужчина.

В приоткрытую дверь больничной палаты боком протиснулся известный своими озорничаньями старик из соседнего отделения с дымящей папиросой в зубах. Воровски оглянувшись назад в коридор, он плотно прикрыл дверь, приложился к ней ухом и настороженно прислушался. Успокоившись, старик пружинистой походкой подошёл к столу и по-хозяйски врубил магнитофон Хачика.

В такт лихой музыке он начал производить резкие, нескромные для пожилого человека телодвижения. Тяжело пыхтя, весь в багровых пятнах, старик старательно вращал сухими бёдрами, отчаянно встряхивал седой головой, выкидывал попеременно ноги – аж до самых ушей.

Вдруг, застыв на минуту, он выпустил изо рта несколько колечек дыма и одним движением плеч сбросил с себя больничный халат. Зло вращая жёлтыми белками глаз, старик ещё быстрее и истеричнее забился в танце, одновременно сердито напевая что-то незанятым папиросой уголком рта.

Спустя минуту он сдёрнул с себя и майку.

Неизвестно, чем бы закончился этот канкан со стриптизом, но дверь с грохотом распахнулась, влетела санитарка с угрожающе поднятым совком и воинственно надвинулась на разгулявшегося старца. Тот сделал ложный выпад в сторону и, обогнув легко обманувшуюся женщину, направился к выходу, приплясывая. Однако в дверях санитарка успела-таки дать ему здоровенного тумака.

Разом смахнув со стола остатки вчерашнего ужина, пустую консервную банку, кассету и несколько книг, санитарка неистово замахала веником, подняв массивный столб пыли.

Приблизившись к койке Аршака, она бросила веник и без лишних церемоний открыла дверцу его тумбочки. Вытащив увесистый куль с фруктами, санитарка, ворча себе под нос, тщательно выбрала и отложила два самых крупных и аппетитных яблока. Затем проглотила с потрохами горсточку вишен, откусила от огромной груши, поморщилась и небрежно бросила её обратно в куль.

Ворча что-то себе под нос, она рассовала яблоки по карманам и вышла, хлопнув дверью.

– Ты что за клизму не заплатил? – спросил проснувшийся Хачик.

– Разве надо? – удивился Аршак.

– Конечно! Это ведь не входит в её обязанности – клизмами медсестра должна заниматься... А я думаю, отчего она сегодня так взбесилась?

Дверь снова грохнула – вновь появилась санитарка, теперь уже со шваброй в руке и бельём под мышкой.

Молниеносным, страшной силы рывком она вытянула из-под извивающегося бородача простыню. Бородач горизонтально взлетел и пока переворачивался в воздухе, санитарка изловчилась стянуть с подушки и наволочку. Когда же больной мёртвой птицей упал навзничь на постель, она, скомкав, бросила ему в лицо свежий набор белья. Бородач коротко всхлипнул и высморкался в простыню.

– Он тоже не заплатил? – робко прошептал Аршак.

– Не задавай наивных вопросов! Кто тебе без этого посередине недели бельё сменит? – поучал Хачик. – Советую, дай ей немного денег – как король жить будешь.

– Неудобно.

– Дай червонец... Смотри и учись, студент!

Хачик ловко сунул деньги санитарке в широкий оттопыренный карман.

– Тикин Парандзем, это от нашего нового товарища. Он такой стеснительный... – за её спиной Хачик лукаво подмигнул Аршаку.

Тикин Парандзем, теперь само участие, перестала протирать полы, повернулась к новичку и, видимо, желая улыбнуться, нелепо скривила губы.

– Живот не болит, касатик?

– Нет.

– Ну и слава Богу!

В зыбком полумраке длинного коридора двигались две белые фигуры. Начался утренний обход. Приблизившись и увидев в щель неплотно прикрытой двери извивающегося бородача, врач приказал медсестре немедленно вспрыснуть больному снотворного, а сам поспешно удалился.

Врач с первых дней невзлюбил бородача и отмахивался от него, как от крупной назойливой мухи. Бородач вечно ныл и брюзжал, требовал от врача показать конспект с планом его лечения, ежеминутно напоминал о Гиппократовой клятве, грозился вызвать в больницу «Скорую помощь».

Но вот уже который день врач искусно избегал встреч со своим пациентом. Однако тот не унывал: как только отпускали боли, бородач тут же вскакивал с постели и часами на корточках высматривал врача в замочную скважину.

– Завтракать идите, идите завтракать! – по утрам тягуче просил чей-то жалобный голос в коридоре.

– Да подавись ты своей парашей! – как правило, в ответ из-за двери раздавался злой бас бородача.

Так больной проводил свой досуг, пока новые приступы не валили его на койку.

Тем временем к Хачику пришла большая группа товарищей.

– А у сторожа внизу губа не дура – прямо рэкетир! – говорили они, перебивая друг друга. – Пока с каждого в отдельности по рублю не содрал – не впустил. Мисаку даже 24 рубля сдачи от четвертака дал! И все рублёвыми...

Час Страшного Суда пробил: в палату вошла хрупкая медсестра, победно неся большущий шприц с толстой туповатой иглой на конце – одной на всех! Пощады не знал никто!

Аршак, согласно инструкции Хачика, после чувствительного, надолго запоминающегося укола, сунул медсестре в карман кредитку. Но с непривычки эта вроде бы нехитрая операция была произведена с излишней ловкостью – так, что медсестра и не заметила «щедрого жеста» больного и строго-вопрошающе уставилась на него. Пришлось великодушно повторить операцию.

К полудню следующего дня настырность бородача была с лихвой вознаграждена – неуловимый эскулап наконец попал в хитро расставленные сети.

– Доктор, простите навязчивость погибающего человека, – с тактичной иронией начал бородач, выходя навстречу из-за двери, – но меня беспокоит ваше полное безразличия отношение к своим пациентам.

– Сисак-джан, драгоценный ты мой, уверяю: ты всех нас переживёшь, – с напускным спокойствием парировал врач. – Я не посвящаю больных в секреты своего лечения, однако почему бы не сделать исключения для хорошего человека? – врач боязливо оглянулся – в коридоре никого не было. – Так вот, мой нетрадиционный метод лечения не имеет аналогов в мировой практике. Он предполагает... минимум внимания к больному.

– То есть как это?! – искренне удивился бородач.

– Конечно, поначалу пациент возмущается, протестует, ломает стулья и другую нехитрую больничную утварь! Но проходит немного времени, и он смиряется со своим положением, теряет всякую надежду на помощь врача. И вот тут наступает переломный момент в ходе болезни! Организм больного в целях самозащиты мобилизует все свои скрытые резервы, зарабатывают ранее молчаливые внутренние механизмы и рычаги. Дело постепенно идёт на поправку – больной сам исцеляет себя! Выздоровеешь – поговорим обстоятельнее. Со здоровым человеком, согласишься, общаться приятнее, – врач загадочно ухмыльнулся.

«Так можно и дома лечиться, – недоумевал ничего не понявший бородач. – Нет, всё-таки придётся вызвать «скорую»!»

Вернувшись в палату после моциона по больничному двору, Аршак нашёл бородача внимательно рассматривающим что-то на широкой ладони. Лицо его сияло.

– Вот! Вылезли наконец-то! Сами вылезли! – делился он радостью, показывая несколько песчинок.

Кто-то со стороны коридора смотрел в замочную скважину. Через минуту торжественно вошёл «лечащий» врач. Лучезарная улыбка играла на его устах. Он так стиснул в своих объятьях бородача, что тот застонал от боли.

– Поздравляю, Сисак-джан! С выздоровлением! Искренне рад за тебя! А ты боялся, – скупая мужская слеза медленно потекла по впалой щеке врача и застыла в густой чёрной бороде бывшего больного.

Растроганный бородач, сам того от себя не ожидая, достал кожаный бумажник и, не раскрывая его, царственным жестом положил доктору в нагрудной карман халата.

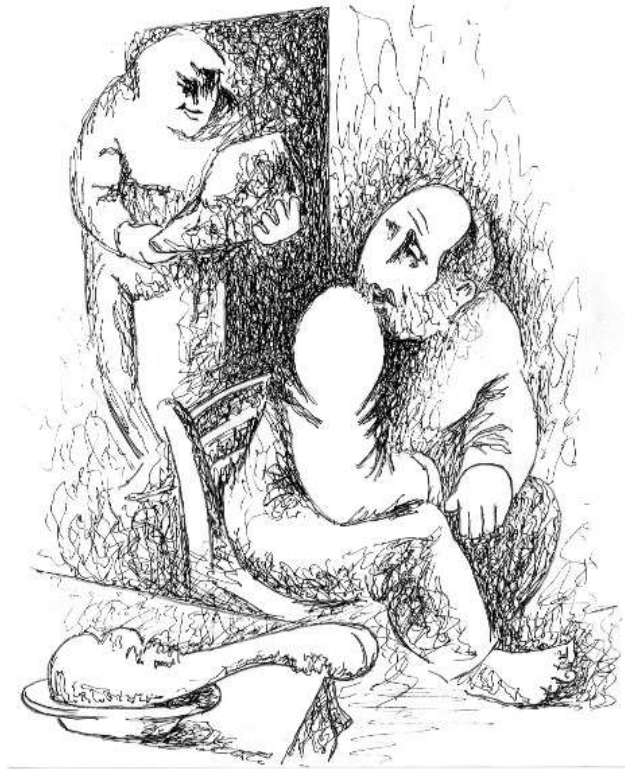
– Ты что? Как не совестно? Разве так можно? – упрекал врач, стыдливо косясь на стоявшего рядом Аршака.

Бородач не растерялся: двумя пальцами вытащил обратно бумажник и незаметно переложил его врачу в боковой карман. Видимо, решив, что дальнейшее «сопротивление» лишено смысла, эскулап охотно сдался.

– Мой метод никогда не даёт сбоев!.. – облегчённо вздохнул он.

На следующее утро вместе с бородачом выписался и Аршак. Его скрытые резервы накануне вечером перевелись...

*1992 год*



## *Пощёчина*

*В соавторстве с Арсеном Арутюняном*

Литературовед Макич Клоян чувствовал, как его полные щёки заливаются густой горячей краской. Такое он и вообразить не мог: чтобы ему, известному в городе человеку, не суметь должным образом принять гостя, накормить его до отвала, напоить отборными винами, коньяком?! Да ещё какого гостя – депутата, прозаика, старого своего друга – Сероба Каблукиана!

Сейчас он, прославленный своим хлебосольством, потерянно сидел за столом, на котором небрежно валялась огромная уродливая обглоданная кость, и не смел поднять голову и взглянуть гостю в глаза.

Каблукиан, не говоря ни слова, сочувственно вздохнул и, сунув руку за пазуху, достал небольшой свёрток.

Так и знал, что ничего путного у тебя не будет, – говорил он, разворачивая свёрток и выкладывая на стол сочный свиной окорок.

Клоян, выпучив от изумления глаза, хищно уставился на окорок. Затем случилось непредвиденное: известный литературовед, тяжело перегнувшись через стол, схватил лоснящийся жиром кусок мяса и с жадностью впился в него зубами.

Сероб Каблукиан, небольшого роста, юркий до невозможности, моментально вспрыгнул на стол и вцепился за ещё выступающий изо рта хозяина дома, но готовый в любой миг исчезнуть конец окорока.

– Макич, Макич, пусти! – металлическим голосом кричал он и тянул изо всех сил окорок.

Макич Клоян попятился назад, и депутат, который приходился ему чуть ли не по пояс, повис в воздухе.

Пытаясь отделаться от назойливого гостя, хозяин отчаянно встряхивал головой, с силой отталкивал его руками, но тот держался цепко, дрыгал в воздухе ногами, неистово барабанил ими по ярко выраженному пузу литератора и вдруг стал умолять... трагическим женским голосом:

– Макич-джан, миленький, отпусти – будь умницей!

Клоян ещё крепче сомкнул челюсти и сильнее затряс головой.



– Отпусти, старый чёрт, совсем что ли очумел? – вновь прозвучал «металл» Каблукьяна и, освободив одну руку, продолжая висеть на другой, депутат закатил своему другу увесистую пощёчину.

Тот, укрощённый, разнял челюсти, выпустил окорок и... проснулся.

Над ним стояли нахмуренная жена Нунофар и задыхающийся в приступах смеха Сероб Каблукьян с домашней туфлей во вскинутой руке.

– Ты чего? – испуганно спросил Клоян, протирая глаза.

– Ну и крепкие у тебя, старого хрыча, зубы – еле с Нунофар смогли вырвать! – депутат наконец взял себя в руки и потряс в воздухе «трофеем» – туфлей.

Жена недоумённо качала головой:

– Совсем на старости лет стыд потерял. Вставай живее, одевайся – Вячеслав Иванович прилетел, в гостиной сидит. Я уже на стол накрываю.

«Вот странный сон! Не к добру, говорят, во сне мясо видеть», – одеваясь, бурчал себе под нос литературовед.

– Коньяк, водку: домашнюю или разливную? – предлагал хозяин гостям – Серобу Каблукьяну и Вячеславу Дуплетову – поэту, другу и единомышленнику из России.

– Начнём с домашней – тутовая? – спросил депутат.

– Кизиловая... Славик, не против?

Дуплетов согласно кивнул.

Наливая Каблукьяну из пузатого хрустального графина, Клоян неотрывно следил за его изящными, тонкими, небрежно обхватывающими рюмку пальцами.

«Вот сволочь, – думал хозяин, – писака несчастный, брехун – ничего полезного не сделал этими руками, а надо же – депутат! И при прежней власти был на виду, и при нынешней».

«Скотина! – думал в свою очередь депутат, перекладывая в свою тарелку исходящую паром кюфту и обильно поливая её топлёным маслом. – Республика голодает, а у него стол ломится от изысканных яств».

Дуплетов же в предвкушении «жгучего удовольствия» о посторонних вещах не думал.

Хозяин грузно поднялся из-за стола.

– Друзья мои! У меня уже стало традицией поднимать первый тост за независимость нашей республики. За независимость, которую мы так долго ждали, за которую вместе боролись!..

– Конечно! Конечно! – вскочил депутат. – Этот тост нужно пить из бокалов – я всегда делаю так.

Каблукьян вылил содержимое своей рюмки в фужер. Его примеру последовали и остальные.

– За независимость!

Чокнулись, выпили. Приятная теплота разлилась по всему телу. Лица порозовели.

– Великолепная водка! – не удержался Каблукьян.

– Прелесть! – поддакнул Дуплетов с набитым ртом.

– Вот... живём, как можем, – не без самодовольства изрёк польщённый хозяин.

Несколько минут ели молча. Слышалось только постанывающее чавканье старого поэта, поглощавшего долму.

– У меня тост! – воскликнул депутат, энергично расправившись с кюфтой.

– Молодец! – одобрил хозяин, облизав пальцы от сока хашламы и наполнив бокалы.

– Я хочу выпить за наше руководство!

– Ну, это уже нечестно, – обиженно произнёс Дуплетов, вытирая салфеткой губы. – Я сам собирался поднять этот тост.

– Дорогой ты наш товарищ Дуплетов, – засмеялся Клоян. – Ты, наверное, хотел выпить за ваше руководство?

– Ну да, – не понял поэт. – А вы за какое?.. Ах, да-да! – вконец смутился он.

– Вот именно, – съязвил Каблукьян. – Пора отвыкать от имперских замашек.

Дуплетову ничего другого не оставалось, как запить свой конфуз малиновым соком.

– Так вот, – самодовольно продолжал Каблукьян, – не знаю, как ты относишься к своему правительству, – он покосился на Дуплетова, – но я горд за наше! Будучи представителем власти, знаю, как тяжело управлять молодой независимой республикой, – депутата слегка качнуло – то

ли от выпитой водки, то ли от чрезмерной гордости за себя и республиканское руководство. – Ещё в бытность секретарем бюро нашей творческой организации я не упустил случая покритиковать на партсобраниях ошибки прежнего правительства... Вот Макич подтвердит – он всегда был в курсе моих дел.

– Да, конечно, Сероб-джан!..

– Да что хвалиться, не я один такой. Сам-то Макич сколько от прежних властей пострадал за свою принципиальность, сколько палок в колёса ему вставляли... Почему он до сих пор профессор, а не академик?!

Растроганный Клоян подскочил к своему другу и обнял его. Оба они прослезились.

Чокнулись, выпили.

Тикин Нунуфар внесла на подносе зажаренного в духовке поросёнка. При виде его хозяин зашёлся в кашле. Поэт старческим кулачком несколько раз тихонько ударил его по спине.

– Водкой поперхнулся?

Хозяин замахал руками.

– Убери его, убери сейчас же! – велел он жене.

– Кого?

– Поросёнка!

– Ты что, веру сменил? – засмеялся Каблукян, принимая поднос с поросёнком.

Поставив поднос на стол, он ловко отрезал жирный окорок и хищно впился в него зубами.

– А ну положи на место! – глухо зарычал хозяин и стал вырывать окорок изо рта гостя.

Ошарашенный Дуплетов выкатил глаза.

Не выпуская из зубов окорока, Каблукян запустил в Клояна маринованным огурцом. Озверевший вконец хозяин залепил гостю звонкую пощёчину, и тот разжал челюсти. Злополучный окорок выпал из его рта.

Все трое сразу отрезвели.

– Ты что, с ума спятил? – взвизгнул депутат, потирая покрасневшую щеку.

– Товарищи! Товарищи! Что вы в самом деле?! – потрясённый поэт встал между ними.

Хозяин наконец пришёл в себя.

– Прости, – едва слышно произнёс он. – Проклятый сон... он во всём виноват...

Но Каблукян и слушать его не хотел.

– Простить... тебя простить?! – кричал он с перекошенным от злобы лицом. – Привык рукам волю давать! Подумать только – из-за паршивого куска мяса... Был ты сапожником, сапожником и остался. И храм науки в мастерскую превратил... За независимость пьёшь, а сам до путча всю прессу статьями в защиту обновлённого Союза наводнил! Паршивец ты этакий!

Лицо хозяина пошло пятнами.

– Ты говори, да не заговаривайся... Сам хорош! – взорвался он. – Творческий цех в райком партии превратил, должности и звания раздавал направо и налево. Хорошо, что вовремя вышвырнули... А теперь что – дифирамбы поёшь новому руководству?! Оборотень!

– Да как ты смеешь меня, депутата, народного избранника, такими словами честить! Я лицо неприкосновенное!.. Сам-то как жил при прежнем правительстве припеваючи, так и при нынешнем живёшь... Перевёртыш!

Смена поз, обмен колкостями и выпадами, вспоминание старых обид продолжались бы бесконечно долго, если бы враждующие стороны вдруг не заметили, что Дуплетова за столом нет.

Литературовед и прозаик бросились на лестничную площадку, выбежали на улицу. Дуплетова не было.

«НЕ ВЫНЕСЛА ДУША ПОЭТА...» – он уехал.

Раздосадованные и подавленные, старые друзья вернулись к столу и почти по-прежнему, почти по-дружески чокнулись, утопив досаду и старые обиды в глубоком бокале.

*1992 год*



### *Коллеги*

Толстая, обитая кожей дверь слегка приотворилась и в образовавшуюся щель просунулась чья-то птичья головка.

– Что там ещё? – недовольно пробурчал шеф, прикрывая локтем большой блокнот, в котором минутой раньше что-то писал.

– Вот, Гегам Артаваздович, бумаги на подпись, отчёты, оперативка...

– Ну-ну, давай.

Шеф положил ручку и стал неохотно перебирать поданные секретаршей бумаги: кражи, угон автомобилей, драки с поножовщиной, разбойное нападение...

«Боже мой! Как всё это пошло: каждый день одно и то же – надоело», – шеф отложил бумаги, задумался на минуту и вдруг, воодушевившись, вывел что-то в своём блокноте. Судя по напряжённым складкам на его низком лбу, крупным зёрнам пота, обильно выступившим на лобных залысинах, дело продвигалось с трудом. Начало будущей поэмы, кажется, получилось: в страстном поэтическом порыве шеф всё возносил своего героя – молодого красавца-лейтенанта с волевым взглядом, который один, даже не удосуживаясь (по воле автора) вытащить пистолет из кобуры, громил шайку вооружённых до зубов злодеев.

*Нагнав бандитов в подворотне,  
За шкуру одного схватил,  
Другого тут же замочил,  
А третий на колени пал,  
В надежде вымолить прощенье...*

Это были мучительные минуты всепоглощающей творческой работы. Но шеф вдруг почувствовал необычайную усталость и слабость, рука безвольно опустилась и выронила паркер. Шеф нажал на кнопку в столе. В узкую щель вновь протиснулась та же птичья головка.

– Назик, – тихо позвал шеф, – поди сюда... Скажи откровенно, стихи пишешь?

– Что вы, Гегам Артаваздович?! Как можно... в рабочее-то время?

– Нет-нет, я вообще имею в виду.

– Да, немного, – со стыдливой ужимкой призналась секретарша.

Шеф оживился, потускневший было взгляд снова загорелся.

– Как это немного? Если писать – так надо много, – категорично произнёс он. – Ты что кончала?

– Филологический...

– Вот и прекрасно: коллеги, значит! Дай мне твою честную руку, – шеф стиснул девушке ручку. Та тоненько взвизгнула.

– Вот, дописать надо эту главу, – шеф протянул блокнот. – Сынишке в школе задали. Начал бездельник, а закончить – не закончил: терпения, да и мозгов не хватило... Не в службу, как говорится. Мне некогда – дела! К концу рабочего дня покажи, ладно? И как можно попатетичнее – сейчас это в моде, – посоветовал напоследок он.

Секретарша ушла. Шеф только прикрыл глаза, чтобы покемарить немного, как девушка вернулась и протянула рукопись.

– Назик! Дурочка ты этакая! У тебя же талант!!! Что ты здесь чахнешь?! Тебе же в высших литературных кругах порхать... погоди, я замолвлю за тебя словечко.

– Спасибо, Гегам Арта...

– Хотя постой, ты мне здесь нужна. Хорошие кадры везде нужны...

Вдруг дверь резко отворилась, и чья-то наглая, заросшая физиономия молча окинула высокомерным, брезгливо-нетерпеливым взглядом обстановку кабинета, с шумом потянула носом воздух, скверно выругалась и, сплюнув на ковёр, исчезла.

– Кто это? – испуганно спросил шеф.

– Хам какой-то, на приём к вам рвался, скандал устроил. Там ещё двое – говорят, что вы обещали принять их.

Шеф задумался, нахмутив брови. Через минуту лицо его просветлело – осенило!

– Знаешь что, Назик? Сегодня я не в духе – голова трещит, ломит в висках, да и масса дел неотложных. Узнай, что они там хотят, и удовлетвори по возможности. Мы же коллеги с тобой, в конце концов!

Шеф снова стиснул девушке руку. Та взвизгнула.

– Вот надень мой мундир, – говорил он, снимая со спинки стула несколько запylённый служебный пиджак, – так представительнее.

Удивлённая до крайности секретарша, однако, не смела возражать.

– Ба-а! Назик, да ты в нём родилась... Сидит словно на хозяине. Ну-ка повернись!

Шеф отступил на шаг и окинул девушку с ног до головы оценивающим взглядом.

– Разве в бёдрах чуть стесняет, – он хлопнул обеими руками ей по ляжкам, – оно и понятно – дело женское.

Девушка залилась густой краской. Гегам Артавазович же, довольный своей шуткой и находчивостью, осклабился.

– Что главное в нашем деле, Назик? – спросил шеф и сам же ответил. – Главное, чтобы мундирчик сидел!

Он полез в ящик стола и достал огромную золотистую звезду – символический знак шерифа.

– В комиссионном купили? – наивно спросила девушка.

– Нет, один хороший товарищ подарил.

Уже на груди у секретарши шеф протёр звезду платочком.

– Блестит-то, блестит как! Ну, с Богом! Поласковой будь с ними. А меня сегодня прошу не беспокоить. Обещаю в скором времени должность советника по... непредвиденным вопросам. Коллеги мы с тобой, чёрт возьми, или нет?!

Секретарша неловко улыбнулась и пошла было исполнять свои новые, как снег на голову упавшие обязанности, но, нерешительно потоптавшись в дверях, вернулась к шефу.

– Гегам Артавазович, я всё собиралась сказать вам, да никак не решалась, – робко начала она. – Муж мой пятый месяц сидит...

– Что-о? Кто сидит? Как? Где сидит?

– Нет-нет! Вы не то подумали. Он честный человек... инженер. Дома сидит. Без работы...

– Ой, Назик, как ты меня напугала! – шеф картинно взялся за сердце.

– Извините, Гегам Артавазович, может у нас найдётся для него свободная должность. Специалист он толковый, только слабохарактерный немного... Кстати, в стихах неплохо разбирается.

– Инженер, говоришь, – задумчиво произнёс шеф, – хорошо, подумаю. Хотя не по профилю это, но можно, как говорится, переквалифицировать... Приведи его на следующей неделе – поглядим, что за птица.

Секретарша-шериф двинулась к двери, неся на своей спине масляный взгляд шефа.

Гегам Артаваздович ухмыльнулся, погладил седые виски и посмотрел на часы: «Да-а, за работой время летит незаметно!»

Вздремнув ещё с полчаса, он, наконец, решил заняться служебными делами и потянулся было за бумагами, но тут взгляд его остановился на бронзовом пресс-папье в виде сухой, крепко сжатой, землистого цвета орлиной лапы со страшными когтями.

«Острые когти закона», – шеф художественно обобщил увиденное и с озабоченным видом стал прохаживаться по кабинету.

«Да, цепкая хватка нужна нам сегодня, как никогда!» – патетически думал он, в то время как предательский взгляд упрямо косился на его белые, ухоженные, слабые пальцы поэта.

Шеф спрятал руки за спину – их безвольный вид нарушал плавное течение высоких мыслей...

*1992 год*

## *Ужин с генералом*

– Хозяин с поля пришёл, накорми!

Нет, дорогой читатель, действие происходит не в деревне, не на лоне природы, а в высотном здании в центре достаточно большого современного города. Так бабуля каждый день подстёгивает невестку, едва приходит с работы в университете её сын-профессор. Она всё ещё живёт своим прошлым, далёкой молодостью в деревне и неустанно пытается привить патриархальные нравы нынешнему поколению...

Эти карабахские долгожители всякого с панталыку собьют. Деда ещё ничего – смиренные, а вот от бабушек прямо проходу нет, внукам особенно.

Иная из бабуль, сама в юности три класса едва осилившая, как примется рассусоливать внуку, второй кандидатский минимум давеча сдавшему, порядком успевшую надоеть байку о том, как в революцию она по направлению райкома партии проводила ликбез в глухом селении среди «таких вот дылд» (а «дылды» эти в лице внука, разумеется, уже третий десяток лет растут вместе с её рассказом), да как пойдёт на досуге стыдить, уму разуму учить, со скуки можно помереть! И так каждый день – хоть под стол залезай!

Впрочем, даже под столом от них проходу нет. Вот, к примеру, уронил за обедом вилку (с кем не бывает?) и, раздосадованный этим, лениво и нехотя тянешься за ней, не подозревая ни о чём. А там вместо вилки что-то живое и большое шевелится: это бабуля, отложив вязанье, незаметно метнулась из угла своего возле печки вилку поднимать. Вообще, это им свойственно – стремление к первенству и верховодству во всём. Ни выдержки, ни терпения! Верно говорят: чрезмерная прыть к добру не приводит, с ними вечно начеку нужно быть, иначе непременно в пассаж неловкий попадёшь!

Вот с соседями недавно такой случай произошёл. Приехал с далёкого севера генерал, классический военный чин – с лампасами, разноцветными орденскими планками на груди, крутыми седеющими усами и экзотичной, вечно дымящей трубкой, а хлебосольный местный офицер возьми да и пригласи его к себе ужинать. Понятное дело – хозяйка, гремя посудой, всюю на кухне старается. В столовую, где хозяин с «высоким» гостем сидят, доносится интересный, противоречивый аромат. Набивая трубку пахучим голландским табаком, генерал сначала тактично принимает молча, тщетно сясь определить по запаху род готовящихся яств, однако, отчаявшись, со свойственной людям его профессии прямоотой басит:

– Поужинаем, значит, сегодня!

Наконец хозяйка с важным видом вносит огромную, исходящую паром кастрюлю. Нетерпеливо слушая пышный и длинный кавказский тост, генерал кладёт трубку, нюхает содержимое рюмки с недовольным, одновременно довольным видом.

– Тутовка, 65 градусов! – с некоторой гордостью предупреждает хозяин.

– Да ты что?! Сейчас посмотрим! Ну... будем!

Генерал берёт тремя пальцами рюмку, оттопырив мизинец, поднимает локоть на все 90 градусов, картинно задерживает дыхание, чтобы легче было принять в себя горячую жидкость, да так и застывает в нелепой позе: с широко раскрытым ртом и прикрытыми в предвкушении жгучего удовольствия глазами...

– Вуй, ослепни мои глаза, чтобы не видеть всего этого! Стерпит ли Бог такое, бесстыжие?! Тайком от меня шашлыки жрут...

Генерал вздрагивает, оборачивается резко, выплескивая часть водки на обои: в дверном проёме белая, сгорбившаяся под грузом лет фигура в панталонах, воздев руки, взывает к небесам.

– Что бабуля говорит? – придя в себя от аффекта, любезно спрашивает генерал.

Хозяин, опешив, принимается в растерянности мять край скатерти, однако хозяйка тут же находится.

– Бабуля сердечно приветствует вас, желает приятного аппетита и просит не стесняться, чувствовать себя как дома, – изящно «переводит» она с армянского.

Генерал начинает сиять, торжественно поднимается, поправляя китель, и дефилирует к бабуле. Демонстративно шаркнув, целует ей ручку. Хозяин с хозяйкой облегчённо вздыхают – пронесло!

Нет, дорогой читатель, не подумай ненароком, что бабулю в этом семействе обходят вниманием. Наоборот, невестка заранее, как это принято в традиционных карабахских семьях, отложила ей лучшие, самые мягкие и жирные куски. Просто старушка сегодня пораньше легла (вроде нездоровилось), но, услышав за стеной незнакомый голос, не поленилась, собралась с силами, встала и пошла посмотреть на гостя.

По настоянию генерала бабушку одели и посадили во главу стола.

– Ну, бабуля, за тебя! – генерал принялся к рюмке, недоверчиво покосился в сторону хозяина:

– 65, говоришь?..

Он опорожнил рюмку, понюхал кусок хлеба, покраснел, прослезился, откашлялся, лихо поправил ус:

– Так точно – 65!

Тем временем, пользуясь сложившейся тактической ситуацией, бабуля быстро взяла бразды правления в свои руки и всё рассказывала на ломаном русском, шамкая беззубым ртом и не обращая внимания на косые взгляды сына, про революцию, про ликбез, про то, как носила в узелке на колхозное поле еду мужу, где они, садясь спиной к спине, молча обедали, как он возвращался вечером усталый и угрюмый, ужинал, не проронив и слова, ложился в постель, а она – покорно рядом с ним. Они, утверждала бабуля, не валяли дурака в постели, как нынешняя молодежь.

– Секса-мекса, что по телевизору показывают, тогда у нас не было. Даже не знали, как дети появлялись...

Генерал прервал её басистым раскатом смеха и, обняв старушку, с напускной наивностью произнёс:

– Ах, как я вам завидую, бабуля? Вот жизнь тогда была – прямо идиллия!

– Э-э, сынок, в наше время всё по-другому было, – подхватила бабуля, – тогда от человека человеком пахло... По глазам вижу, ты – хороший человек, только квёлый: рюмку водки и то нормально выпить не можешь. За твоё здоровье! – подмигнув генералу, бабуля непринуждённо опрокинула в себя стопку водки, вытерла тыльной стороной ладони губы и, не закусив, стала негодовать на то, что муж-бесстыдник, лет десять назад ушедший в мир иной, забыл её, не приходит за ней...

– Наверное, там себе хорошую подругу нашёл, – шутил явно повеселевший генерал.

Ему всё было впервой: и водка в 65 градусов, и энергичная бабуля без комплексов в 95 лет... Он слушал старушку умилённо, то и дело целуя ей ручки и поднимая тосты за здоровье, за державу, за женщин, за любовь, попыхая при этом трубкой. А бабуля не отставала, шутила и веселилась в стиле ретро, а порой делала и едкие замечания, не давая сыну с невесткой и рта раскрыть.

Вот такие у нас старички – хоть и беззубые, но палец им в рот не клади...

*1997 г.*

## *Неленый поцелуй*

Корюн проснулся от протяжного и требовательного звонка, открыл дверь. Маленький солдатик на пороге вручил ему повестку с «предложением», не совсем вяжущимся по тону с последующим текстом – «немедленно явиться в военкомат». Корюн поспешно оделся и отправился в военкомат, даже не позавтракав от волнения. Здесь его зарегистрировали, а вернее, захмутили, и отпустили домой собираться. Через несколько дней он снова получил повестку – теперь уже с «приказом немедленно явиться в военкомат», явился и был мобилизован в артиллерийскую часть.

Поначалу ему, «маменькиному сынку», с малолетства приученному к шаблонам обычной, гражданской жизни и домашнему уюту, всё казалось нереальным: подъём до рассвета, когда слипаются глаза и ноет неотдохнувшее тело, отбой, когда ещё толком не стемнело, суровые сержанты и старшина, вечно теребящие солдат и, словно нарочно, не дающие им и минуты остаться наедине с самим собой, отдышаться, расслабиться, подумать о чём-то своём, личном. Но это ещё полбеды: младшие командиры гоняли «салаг» днём – по уставу, а ночью начиналась совершенно другая, неуставная жизнь – теперь молодыми солдатами занимались «старики». Уже во вторую ночь Корюн был жестоко избит старослужащими солдатами за то, что отказался шить воротничок одному из «дедов», который зверствовал в оставшиеся ему полгода службы сильнее «дембелей», относительно мирно доживающих последние свои несколько дней в армии.

– Настучишь взводному – получишь ещё, – пригрозил «дед».

Корюн командиру не пожаловался, да и тот особенно разбираться не стал, хотя, конечно же, понимал, что фонарь под глазом – отнюдь не результат падения, как утверждал салага. Ещё пару месяцев старослужащие терзали группу молодых солдат. Большинство ломалось, становясь безропотным инструментом в руках у «дедов». Жизнь для них превращалась в сплошной кошмар. Днём они служили родине, а ночью – старослужащим, находясь у них на побегушках, подшивая им воротнички, стирая «дедовскую» военную форму и носки. Зло мира словно сконцентрировалось здесь – в казарме, где человек человеку был волком, и слабый немедленно пожирался более сильным. Маленький, тщедушный Корюн, движимый всё ещё оставшейся внутренней гордостью, сопротивлялся как мог. «Корюн – означает львёнок, и я должен быть сильным!» – внушал он себе. Но силы были неравны...

Не раз по ночам, обняв подушку, он глотал горькие, беззвучные слёзы, проклиная себя за слабость. Улучив минуту, писал матери письмо. Тут Корюн не боялся показаться слабым и беспомощным, подробно расписывал, как тяжело служится ему, пропуская лишь самые обидные для себя детали. Он явно жалел себя в письмах... Правда, отдавая дань справедливости, скажем, что по возвращении домой Корюн немедленно отобрал у матери свои армейские послания и сжёг...

Вспоминая после армию, он особенно стыдился за один эпизод. По прошествии трёх месяцев службы заместитель командира дивизиона, долговязый капитан, заметив на политических занятиях грамотность и начитанность Корюна, определил его в помощники писаря. Он стал чертить плакаты, помогал выпускать стенгазету, в общем, выполнял работу «канцелярской крысы», как с презрением, скрывавшем в себе ещё большую зависть, называли его сослуживцы. Корюн вдохнул наконец полной грудью. Теперь, когда других отправляли в наряд, караул или на парково-хозяйственные работы, у него появлялось достаточно времени, чтобы заняться собой. Между делом, отложив тушь и перья, «канцелярская крыса» могла позволить себе зайти в чайную, поупражняться в спортгородке или просто выйти прогуляться по расположению воинской части.

Именно во время одной из таких прогулок Корюн столкнулся у санчасти с ослепительной блондинкой-медсестрой. Та буквально вылетела из дверей лазарета, задев его плечом, и пронеслась мимо, бросив на ходу почти пренебрежительные и не совсем внятные слова извинения. При этом она едва удостоила солдатика мимолётным взглядом. Однако Корюну этого было достаточно, чтобы запечатлеть в себе пару огромных глаз цвета фиалки.

Медсестра с аптечкой под мышкой явно спешила куда-то, почти бежала, но при этом не делала каких-либо лишних движений, оскорбляющих женственность и нарушающих ту неуловимую природную гармонию, которая делает женщину по-настоящему женщиной. Она, казалось, не касалась ступнями земли – настолько воздушной была её походка. Линии её



стройной фигуры едва обозначались под просторным белым халатом, но это лишь воспляло воображение и чувственную фантазию Корюна. Когда медсестра скрылась за углом большого кирпичного здания штаба полка, тень её осталась по эту сторону, витая перед солдатиком светящимся облаком...

Всю ночь Корюн грезил. Пятый месяц сдерживающий всякие проявления полового инстинкта, он с юношеским порывом воображал свою близость с медсестрой: изливался горячими признаниями в любви, обнимал и целовал её, заступался за неё, спасая от бандитов... А наутро она показалась ему до боли родной, и он страстно захотел ещё раз увидеть её.

Теперь после утреннего развода Корюн прямо направлялся к санчасти. Встав поодаль, он с замиранием сердца ожидал её появления. Дверь санчасти открывалась и закрывалась – входили и выходили солдатики, перевязанные бинтами, офицеры и прапорщики-медработники. А её всё не было...

Затаив дыхание, Корюн терпеливо ждал в тени клёнового дерева напротив санчасти до тех пор, пока наконец не выходила медсестра. Она проходила мимо, не замечая его. Он же потерянно смотрел ей вслед и уходил удручённый, чтобы дальше терзаться фантазиями своего разыгравшегося и неуправляемого воображения. И с каждой такой мимолётной встречей она казалась ему всё более недостижимой...

Но тут произошла неожиданная развязка. Один из медиков, заметив вскоре Корюна и его постоянные «засады» у санчасти, стал тайком следить за ним. Догадавшись, в чём дело, он поманил солдата и, заговорщически подмигнув, прошептал ему:

– Хочешь, свидание устрою?

– ...Вы о чем?.. Какое свидание?.. – пролепетал едва живой Корюн.

– Не притворяйся, сынок. Сам молодым был, – прапорщик лукаво улыбнулся. – Запомни, воздержание – вещь опасная.

Корюн горел от стыда – его заветная тайна была раскрыта!

– Ну, что ты ломаешься – хочешь Алёнку поцеловать? – задорно выпалил старшина.

Корюн стал пунцовый.

– Это невозможно... – едва выдавил он из себя.

Здоровенный усатый прапорщик, похожий на сказочного Бармалея, разразился здоровым, раскатистым смехом.

– Ты бы видел, что эти девицы вытворяют с офицерами во вечерам! – прапорщик имел в виду молоденьких медработниц, которые, бывало, оставались ночевать в полку.

– Она не такая, – задыхаясь, произнёс Корюн, посмотрев с нелепой надеждой на прапорщика.

Последовал новый взрыв хохота – гусарские усы старшины затряслись.

– Услуга, как говорится, за услугу, – придя в себя, прапорщик надвинулся на Корюна и, снова подмигнув с хитрецей, прошептал. – После я попрошу тебя об одном небольшом дельце... Подожди здесь, сейчас приведу её.

Корюн хотел бежать, но неодолимое любопытство приковало его к месту. Через пару минут прапорщик действительно вывел медсестру под руку, говоря ей что-то на ушко. Одним глазом он глядел на Корюна.

– Этот что-ли? – задорно хихикнула медсестра, остановившись метрах в трёх и оглядывая солдатика с ног до головы иронично-оценивающим взглядом.

Корюн попятился. Ему казалось, что ноги вот-вот перестанут держать. Он не разбирал черт лица блондинки – перед глазами стояло какое-то слепящее пятно, от которого ему хотелось прикрыться рукой, защититься, словно от яркого солнца.

Между тем прапорщик снова наклонился к ушку девицы, щекоча её своими длинными усами. Та вдруг зарделась и хихикнула. Потом сводник, приплясывая, подошёл к Корюну и с серьёзной миной тихо спросил:

– Куда целовать будешь?

Корюн стоял, потупив взор.

– Ну что ты красную девицу из себя строишь? В щёчку, в губы?.. – с явным нетерпением переспросил прапорщик.

Корюн помялся и вдруг неожиданно для самого себя выпалил:

– В грудь!

– О-о! Куда хватил! – загоготал старшина и весело побежал к медсестре.

– Что-о!.. Да пропадите вы пропадом, кобеля несчастные! – она округлила в изумлении глаза и хотела повернуться и уйти в деланном гневе, но прапорщик мягко удержал её за руку и снова задышал ей на ушко.

– Ну, ладно, черти, делайте, что хотите. Только давайте быстрее, а то у меня процедуры с больными, – как-то обыденно, словно речь шла о целесообразности того или иного лекарства, произнесла медсестра.

Итогом челночной дипломатии старшины стало то, что Корюн, помешкав немного, подбежал, не помня себя, к женщине и поцеловал её... в щёчку. Затем под истеричный гогот своего сводника унёс ноги, не оглядываясь...

А услуга, о которой попросил Корюна прапорщик, заключалась в том, чтобы подложить в конспект замполита дивизиона, который чем-то насолил старшине, несколько картинок непристойного характера – в надежде дискредитировать его в глазах подчинённых. Но бывалый капитан сразу же почувствовал подвох и, не дожидаясь признания, чьих рук это дело, вывел весь взвод на плац и взамен политзанятий целый час гонял солдат строевым шагом на морозе...

Корюн долго не мог простить себя за слабость и унижение, за свою первую, армейскую любовь и нелепый поцелуй.

*2003 год*



## *Несун*

Эта почти невероятная история произошла в одной из республик Закавказья ещё в советское время – в период, который тогда не без гордости называли «развитым социализмом».

В районном отделе милиции было шумно, неуютно и зыбко. Во всяком случае, так казалось тому, кто по воле обстоятельств или, может быть, самой судьбы оказывался здесь со стороны – был приглашён, а вернее, приведён «по делу»...

Высокий сержант вёл по длинному неопрятному коридору маленького тёмного гражданина в большой кепке. У кабинета старшего участкового сержант остановился, сурово, словно вынося приговор, взглянул на провинившегося, сорвал с него головной убор и... нерешительно постучался в дубовую дверь.

– Расхититель социалистической собственности! – участковый грузно поднялся со своего места, как-то нервно и суетливо надел на лысую круглую голову форменную фуражку типа «аэродром» (что считалось особым шиком, признаком довольства и высокого статуса – чем солиднее пост, тем больше площадь фуражки) и грозно надвинулся на появившегося на пороге человечка. – Таких, как ты, раньше в расход пускали!

Человечек, которому можно было дать лет сорок, вздрогнул, втянул голову в плечи, став ещё меньше.

– Представься! – скомандовал участковый, и большая бородавка на его здоровом, лоснящемся лице налилась кровью.

– Эйвазов... Рафик, – нерешительно, словно сомневаясь в том, что он произносит, выдал из себя допрашиваемый.

Участковый двумя пальцами взял со стола металлический стерженёк, обёрнутый в платочек, и помахал им в воздухе.

– Сколько лет на заводе?

– Девятнадцать...

– Девятнадцать?! – злорадно переспросил участковый. – Так вот, несун несчастный, будем отплясывать от того, что ты тащил с завода каждый день... Этот штифт стоит 1 рубль 27

копеек. Умножим 1 рубль 27 копеек на число трудодней в неделе – шесть... Потом – на число недель в месяце, ещё – на месяцев в году, наконец – на девятнадцать, – участковый с минуту калькулировал, затем, невзирая на свою тучность, достаточно легко встал, выпрямился, выпятив уродливый колыхающийся живот, который у него начинался почти прямо под двойным подбородком, снова зачем-то надел фуражку и, назвав цифру с несколькими нулями, крикнул почему-то на русском:

– Расхититель социалистической собственности! Такие негодяи, как ты, тормозят наступление светлой эры коммунизма!..

Грузно опустившись в под стать ему массивное кресло, старший участковый перевёл дыхание, ещё раз прошёлся глазами по протоколу мелкого хищения и как-то обречённо посмотрел на сержанта-стажёра:

– Загляни в уголовный кодекс. Сколько ему положено?

Сержант взял со стола потрёпанную книжку и стал листать. Спустя минуту он многозначительно взглянул на участкового и бесстрастно произнёс:

– Хищение государственного имущества в особо крупных размерах... 15 лет строгого режима!

Человечек аж подпрыгнул на месте:

– Смилуйте... не губите! У меня дети... много детей! Жена, тёща больная – все на моей шее, – сказал он, весь скукожившись.

Участковый грозно смотрел на него, сдвинув неухоженные, растопыренные брови.

– Ладно, сержант, не будем мелочиться – давай заменим ему на 10, – обратился он после солидной паузы к стажёру, незаметно подмигнув ему.

– Можно, пожалуй... – произнёс тот, как-то глупо откашлявшись.

– Можно Машку за ляжку, а закон требует строгости и точности! – снова подмигнув, произнёс участковый и хрипло рассмеялся. В его смехе чувствовался какой-то зловещий оптимизм.

Допрашиваемый стоял, как провинившийся ученик, боясь поднять глаза. Лишь тонкие усы его нервно дёргались и, казалось, что он вот-вот всхлипнет.

– Ну что раскис, негодник? Или разжалобить хочешь? Поздно уже – тогда надо было думать, когда народное добро воровал...

– Всё сделаю, ничего для вас не пожалею... пощадите! – взмолился несун, показав участковому два вытянутых пальца – указательный и средний.

Взгляд участкового невольно оживился и несколько смягчился, однако он резким движением снова надел фуражку-аэродром, встал и с возмущением произнёс на русском языке:

– Попытка дачи взятки должностному лицу?! Это ещё более усугубляет твоё положение! Сержант, посмотри сколько ему в совокупности полагается.

Стажёр с важным видом полистал потрёпанную книжку:

– Высшая мера наказания – расстрел! – отрезал он.

Наступила минутная пауза. Со стены на потенциальную жертву электрического стула строго и осуждающе смотрел железный Феликс в деревянной раме...

– Расстрел, так расстрел. Как говорили древние, «суров закон, но закон».

Произнося это, участковый вытянул перед несунуем 3 пальца. Тот кивнул в знак согласия, и оба облегчённо вздохнули. Стажёр, с любопытством наблюдавший за этой игрой, довольно улыбнулся.

Участковый нажал на кнопку в столе. На пороге появилась под стать ему толстая, но в то же время очень подвижная секретарша с огромными, красивыми, как у газели, глазами.

– Аделина, принеси чай, да покрепче, а то у меня нервы начинают сдавать!

У секретарши всё гармонично колыхалось: грудь, спина, бёдра... Не скрывая удовольствия, участковый, стажёр и допрашиваемый (несмотря на критичность своего положения) следили за тем, как она поплыла обратно.

– Ладно, земляк, так и быть, назначу тебе условное наказание... – участковый надвинулся на залётчика, едва женщина скрылась за дверью. – Три тысячи! Через два часа! – уже открыто произнёс он тоном, не допускающим возражений.

– Будет сделано, шеф! Разрешите идти?

–Иди, время пошло! – как подчинённому отдал «приказ» старший участковый. – И чтобы без шуток!

– С такими мерзавцами по-другому нельзя! – сказал поучительным тоном «шеф» стажёру, провожая нарочито строгим взглядом штрафника.

Через два часа восемь минут и двадцать секунд (как зафиксировал «шеф») залётчик появился. Теперь это был уже другой человек: он вошёл как хозяин, открыв, что называется, дверь ногой. Бросив на стол «откупные» в виде трёх обёрнутых в картон пачек, «обвиняемый» гордо посмотрел на «судей». Те и не глядели в его сторону, глупо уставившись на толстые стопки, словно не веря своим глазам. Из-под картонной обёртки с десятирублёвых банкнот с укоризненной и грустной улыбкой смотрел на них Владимир Ильич Ленин...

– Шеф, могу я попросить у твоей секретарши чай? – отдышавшись, нагло спросил несун. – Только обязательно в стакане армуды – из других не могу пить.

«Шеф» неохотно потянулся к звонку. Величественным кораблем в кабинет вплыла секретарша.

– Аделина, принеси... уважаемому чай, в армуды!

«Подследственный» теперь уже по-хозяйски посмотрел вслед за секретаршей, наслаждаясь её пышными, колыхающимися формами. Вся фигура женщины удивительным образом напоминала грушевидный стакан армуды.

– Вот женщина! – нахально произнёс несун. – Много бы за такую отдал.

– А, негодяй, не зарься на чужое, не твоего ума дело! – почти по-свойски отчитал его участковый.

– Да я так, ненароком, – оправдался залётчик. – Все мы – люди...

Но участковый уже и не слышал его, пряча под стол толстые пачки денег.

– А могу я взять штифт? Так, на память, – попросил бывший подследственный, уходя.

– Нет, дорогой, не положено. Это вещественное доказательство, – участковый аккуратно взял платочком железку и положил её в сейф...

Проводив несуну, милиционер вынул обратно штифт, полюбовался им и рассмеялся раскатистым, хищным смехом. Затем выбросил железку в урну и подмигнул стажёру-подельнику:

– Согласись, Игорёк, хорошие у нас люди – работать с ними можно. Вроде бы гиблое дело – административное наказание, штраф 10 рублей, но если к нему подойти творчески, с головой, то можно и ...

Стажёр весело кивнул.

– Но и ты молодец, прогрессируешь! Так сколько, говоришь, с меня причитается?

*2005 год*

## *«Салимчика жалко!»*

По мере того, как региональный семинар представителей неправительственного сектора стран Южного Кавказа приближался к концу, всё более непосредственным становилось общение его участников, особенно в кулуарах. Между ними установились какие-то свойские, домашние отношения, несмотря на то, что конфликты между их государствами ещё не были урегулированы, а атмосфера в обществах сторон была далека от идеальной.

Однажды после ужина участники семинара собрались в холле гостиницы, и Ваграм, представитель Нагорного Карабаха, начал рассказывать историю своего знакомого Салима:

– Это был импозантный, богатый и щедрый молодой человек. Ходил в светлом импортном костюме, был всегда опрятен, чисто выбрит, от него пахло дорогими духами, туфли блестели. Он заведовал крупным универмагом – вы прекрасно знаете, что означало это в советское время, когда хороший товар продавался из-под прилавка. Короче говоря, мой приятель преуспевал: у него были великолепные связи, ради дефицитного товара к нему шли на поклон власть имущие и самые известные люди города. В то же время Салим был простодушным, а порой – наивным до невозможности. Наверное, поэтому все мы звали его Салимчиком. Да и сам он нередко называл себя так, часто говоря о себе в третьем лице.

Ваграм почувствовал, что его слушают с любопытством и, вобрав в лёгкие запас воздуха, продолжил:

– Салимчик был женат на низенькой невзрачной женщине, данной ему судьбой, словно по иронии. Впрочем он пошёл на такой брак, не желая обидеть горячо любимую мать: Гюльнара, которую ему настойчиво сватали, была дочерью её близкой подруги. Как джентльмен, Салимчик уважал свою жену, одаривал её золотом и бриллиантами, шикарно одевал. Но он не любил Гюльнару. На его лице неизменно были написаны скука и тоска. Но вот однажды Салимчик расцвёл, словно весенним ветерком разогнало тучи на его лице...

Ваграм замолчал, обвёл взглядом присутствующих. У всех на лицах был неподдельный интерес. Но взор его остановился на соседе по гостиничному номеру – Арисе, который уставился на него со странным, каменным, как показалось Ваграму, недобрый выражением. Глаза его были неестественно выпучены, а губы вытянулись, образовав трубочку.

Вы наверняка догадались, дорогие друзья, что наш Салимчик влюбился. Она была длинноногой красавицей-блондинкой со знойным взглядом. Я однажды случайно видел их вместе в городе. Когда мы приблизились, Салимчик незаметно подмигнул мне, давая понять, что не собирается знакомить с подругой, и я сделал вид, что не знаю его. Разумеется, я не мог не оглянуться, а посмотрев назад, поразился её стройности – таких девушек я не видел даже по телевизору. Выйди она на подиум, непременно обставила бы всех манекенщиц. Но и Салимчик не терялся на её фоне – он был высок, широкоплеч. Некоторая сутулость и рыхловатость не портили его. Честно говоря, я позавидовал своему приятелю – откуда он откопал её? Впрочем на счастливую парочку оглядывались все прохожие.

Ваграм перевёл дыхание и невольно покосился на Ариса. Лицо его по-прежнему было неподвижным, лишь ещё больше вытянулось в сторону рассказчика. Глаза же горели каким-то нездоровым блеском. Ваграм отвёл взгляд и поспешил продолжить:

– Увы, их идиллия длилась недолго, примерно год. За это время я видел Салимчика ещё один раз. Он спешил куда-то с огромным букетом цветов. Мы успели лишь поздороваться и переброситься на ходу парой общих фраз. Затем он побежал, заговорщически подмигнув, как тогда, сел в свою чёрную «Волгу» и, круто развернувшись, уехал. Он был счастлив. Это было написано на его лице: здоровом румянце, лучиках радости в уголках глаз, умиротворённом лбе. Это выражалось в его энергичных, полных жизни движениях. Но однажды, когда я совершал свой обычный вечерний моцион по городу, кто-то позвал меня. Я обернулся... и не узнал его. Вернее, я, конечно же, узнал его, но это был совершенно другой человек: Салимчик поседел, неестественно осунулся, был небрит, весь какой-то поникший. Пиджак сидел на нём мешком.

– Что с тобой? – не удержался я.

Он отчаянно махнул рукой и пригласил меня в ближайшее кафе. Салимчик был глубоко несчастен, и я, естественно, догадался о причине, но не спешил убрать со своего лица знака

вопроса. Заказав официанту пирожное и кофе, а мне лично – коньяк с лимоном (Салимчик знал о моём пристрастии), он сразу же начал, будто я был в курсе всех его дел:

– Объясни мне, пожалуйста, чем я обидел её? Купил ей квартиру в центре города, обставил дорогой мебелью, одарил бриллиантами, устроил родственников на работу у себя в универмаге. Салимчик – нежадный человек, весь город об этом знает! И вот такой удар в спину! А говорила, что любит. Выходит, морочила мне голову... А я любил её больше жизни.

– Ты о ком? – я сделал вид, что не понимаю о чём речь, и уж точно зная, что не о жене говорит.

– Да ты угощайся, возьми пахлаву, – безвольные складки на лбу у Салимчика, опущенные уголки рта, дрожащие пальцы отражали его крайне подавленное внутреннее состояние. Он старался унять дрожь, перебирая чётки, которые постоянно носил с собой. – Я об Олечке... Ах да, я же не познакомил тебя с ней. Вот штучка: страстная, горячая, как огонь! Такой у меня ещё не было... Ты кушай-кушай, выпей рюмочку. Я не могу, извини, нездоров...

Салимчик долго рассказывал о счастливых днях с Олей, всё растягивая печальный финал, о котором я изначально уже догадался интуитивно. Наконец он начал, вобрав голову в плечи:

– Месяц назад чисто мужской компанией отмечали день рождения однокурсника. Выехали за город, в прибрежный ресторанчик «Эдем». Туда едут все, кто хочет немного отдохнуть от городской суеты и оградить себя от любопытных глаз знакомых. Так вот, в середине застолья из соседней кабины послышался знакомый звонкий смех. Ну, думаю, показалось: перебрал Салимчик спиртного, звуковая галлюцинация – тем более что я постоянно думал о ней. Через минуту смех повторился. Я вскочил, выбежал и распахнул дверь кабины напротив... Ноги мои подкосились. Пока гримаса смеха на лице моей Олечки менялась маской ужаса, я потерял сознание, не успев даже разглядеть её друга... Пришёл в себя только в больнице...

Салимчик неожиданно всхлипнул. Мне стало не по себе, я прятал свой взгляд, стараясь не глядеть на его жалкое бледное лицо и воспалённые глаза. Потом я сделал несколько неуклюжих попыток успокоить его. Впрочем я был недостаточно искренен в отношении самого себя, намекая на то, что не в постели же застал Салимчик свою любимую – может, измены-то и не было... Но он и слушать меня не хотел, всё повторяя:

– А Салимчик любил её больше жизни...

Когда Ваграм замолчал, нависла тягостная, тяжёлая тишина. Первой нарушила её Нонна, правозащитница, старая дева и не улыба:

– Так ему и надо! Женился, не заглядывайся на чужих красавиц: в одной руке два арбуза не удержишь.

– Да что вы понимаете?! – возразил ей Ираклий, импульсивный молодой человек. – Нельзя же каждый день борщ кушать, иногда хочется и шашлычка попробовать.

– А как потом сложилась жизнь Салимчика? Ты видел его после этого? – спросил Руслан.

– Нет, но говорят, что спился, потерял всё своё состояние. В общем, банальный печальный конец.

– Жалко Салимчика, – вздохнула Аида...

Никто не остался равнодушен к судьбе Салимчика, кто-то сочувствовал ему, кто-то критиковал и упрекал его в слабых характеристиках и безволии. Только Арис молчал. Лицо его было серьёзно-застывшим. Чувствовалось, что за этой, казалось, непробиваемой миной идёт серьёзная внутренняя борьба. Но Арис не проронил и слова...

Уже далеко за полночь под впечатлением рассказа Ваграма люди разошлись по своим номерам.

Всю ночь Арис ворочался в постели: что-то явно мучило его. Спросонья Ваграм услышал его бормотанье: «...В жизни быдло всегда берёт верх над интеллигенцией. Бедный Салимчик стал жертвой хамства и продажности...»

«Причём тут интеллигенция?» – невольно спросил сам у себя Ваграм и, не ответив, углубился в сон. Он не знал о том, что Арис, сорокалетний холостяк, сам пережил нечто подобное в ранней молодости...

К утру Ваграму показалось, что кто-то зовёт его, но откликнуться не было сил. Ещё через минуту он почувствовал, как что-то давящее стремительно приближается к нему.

– Ваграм! Ваграм!! Ваграм!!! – по нарастающей, словно пытаюсь спасти умирающего, звал Арис, приближаясь к своему соседу по номеру.

Ваграм вскочил, сел на постели, увидев в лучах восходящего солнца знакомое до боли застывшее лицо и воспалённые глаза.

– Что случилось? – испуганно спросил он.

– Бедный Салимчик!.. – произнёс Арис, всхлипнув.

Ваграм не поверил своим ушам, протёр глаза – ему это казалось продолжением сна.

– Что?!

– Салимчика, говорю, жалко...

*2006 г.*





## *Тренер*

В каждом большом карабахском семействе такой «тренер» непременно имеется. Он безапелляционно говорит о разных вещах, даёт инструкции на все случаи жизни, нисколько не сомневаясь в своей правоте, чрезвычайно охоч до прекрасного пола – во многом благодаря последнему качеству его и называют «тренером» или чем-то в этом роде. Вдобавок ко всему, наш Тренер был ещё и озорником.

Бывало, в чужом городе подойдёт к нему пожилая женщина и попросит подсказать, как пройти к N-скому объекту, и вместо того, чтобы сказать: «Извините, я тоже приезжий», Тренер непременно возьмёт её за плечо и без тени смущения укажет:

– Иди прямо, бабуля!

– Почему прямо, ты же не знаешь города? – спросишь его.

– Не налево же бабуле идти! – не теряется Тренер.

Но это одна из самых безобидных шуток Тренера – то ли бывало!

Однако для начала давайте уясним, как за нашим героем – дядей Хореном (так обращались к Тренеру в семействе и стар и млад), закрепилось столь почётное и обязывающее звание.

Дело было в Ленинграде. Дядя Хорен, как самый деловой в семействе, поехал устраивать в университет своего племянника. Тогда у него не было такого выдающегося брюха, как сейчас (оно едва намечалось), и из-за достаточно высокого роста и косой сажени в плечах он вполне мог сойти за спортсмена-ветерана...

Надо сразу сказать, что в такие деловые поездки наш герой брал с собой большую канистру тутовки. «Волшебная» канистра помогала решать любые вопросы: после второй рюмки самые несговорчивые становились на удивление податливыми и уступчивыми, ибо жгучее содержимое невзрачного, замызганного сосуда помогало находить общий язык.

Когда в Ленинграде зашли в универмаг купить абитуриенту необходимые принадлежности, дядя Хорен вдруг остановился у отдела белья, пригляделся, подошёл, гордо

неся свое небольшое упругое пузо, и стал по очереди примеривать лежащие на прилавке трусы: берёт одни, приставляет к переду и небрежно бросает обратно, берёт другие – все малы... Когда он проделал это в четвёртый раз, молоденькая продавщица-блондинка произнесла тоненьким, вежливо-предупреждающим голосом:

– Мужчина, это спортивные трусы!

– А я тренер-да! – не растерялся дядя Хорен.

Все вокруг прыснули... Абитуриент же чуть не помер со смеху, и с тех пор с лёгкой руки племянника, как анекдот рассказывающего всем подряд данный пассаж, дядя Хорен стал теперь уже официально носить это почётное звание.

На время экзаменов остановились у знакомых. В большой комнате вместе с людьми жили две собаки и кошка с выводком. Едва переступив порог, Тренер стал недовольно коситься на них, сердито бурча себе под нос. Порой не выдерживал: «Брысь! Пошёл отсюда! Тоже мне... Дом это или зверинец, не могу понять?!»

Всю ночь ворочался в постели – видно, снились кошмары...

Утром встал в очередь в туалет. Вошёл, наконец, наступил на лужу (шлёпанцы ему не достались – он был в одних носках). Тут его терпению пришёл конец. Ещё в туалете он начал:

– Тьфу, что э-э у вас: вода, лужа, кошки-мышки?!

Выйдя, поднял вверх указательный палец:

– У нас один муха, слышите, один муха э-э, придёт в дом, жена целый день, целый день э-э, гонится за ним, пока не убьёт! А у вас что э-э – кошки-мышки?!

Успокоился Тренер не скоро, всё повторяя:

– Что э-э у вас?!

Положение спасла молодая соседка, вошедшая на свою беду попросить что-то у хозяйки. У Тренера заблестели глаза.

– Садись, дорогая, выпей рюмку тутовки, – по-хозяйски, с южным гостеприимством распорядился дядя Хорен, потянувшись к канистре у дивана.

– Нет, что вы?! У меня больной желудок, – отнекивалась женщина.

– Послушай меня, дорогая. Мой сестра тоже болел. Доктор посмотрел, сказал: «Ты умрёшь». Мой сестра кушал туту прямо с дерева, водку пил, туту кушал, водку пил... Через месяц доктор видит её и удивленно спрашивает: «Ты ещё не умер?» Выпей, и все болезни исчезнут. Это не водка э-э, это – настоящее лекарство. Эй, принеси стакан!

Он взял смущённую женщину за плечи, усадил рядом с собой, налил прямо из канистры полную рюмку.

– Выпей, азиз-джан, задержи дыхание и быстро вылей в горло. И глазом не моргни, а то, смотри, поперхнёшься.

Та сделала ещё одну робкую попытку отказаться, но Тренер уже подносил рюмку к её губам. Он чуть ли не сам влил водку в горло женщине. Её вдруг задергало, она зашлась в кашле, стала задыхаться... Вызвали «Скорую». Через три дня соседка выписалась из больницы и пришла разбираться.

– Вы меня чуть не убили...

– Да, тутовка – рентген, если человек больной, сразу показывает, – без тени смущения говорил Тренер. – А это что-э?! Однажды я выпил два ящика коньяка – сердце не выдержал, целый неделя в больнице лежал.

В Ленинграде «волшебная канистра», к великому удивлению Тренера, не сработала: доценты и профессора попались какие-то непьющие, «ненормальные», племянник же не набрал достаточного количества баллов.

– Какой позор, какой позор! – Тренер в отчаянии ударял себя по коленям. – Чтобы я встал, оставил всё: дом, машина, жена, любовница – пришёл сюда, и ничего не получилось?! Разве такое бывает?.. Эти профессора – не люди!

Прощаясь с хозяевами, Тренер расцеловал их и грустно произнёс:

– Это вам на память, – он протянул канистру.

– Зачем она нам? – искренне удивился хозяин.

– Э-э, что вы понимаете? Это – нужная вещь... Ну и что, один раз промах дал?!

На вокзале Тренера встречала большая толпа родственников. Все сразу заметили, что он без канистры (обычно он возвращался с пустой канистрой, как боец с передовой с пустым автоматным магазином). Немой вопрос на лицах сменила тревога.

– Дядя Хорен?! – не выдержал кто-то.

– Э-э, и без вас на душе кошки-мышки скребут, дайте дорогу!

Толпа бесшумно расступилась перед гордым, но немного грустным, обезоруженным Тренером.

– У каждого свой Ватерлоо, – процедил он сквозь губы, садясь в машину. – Чем я хуже Наполеона?..

*2006 год*

## *Культурное мероприятие, или Рассказ о том, как немец двух кавказцев мирил*

Спустя пару лет после установления хрупкого перемирия в зоне Карабахского вооружённого противостояния правозащитник из Германии Август Мюллер возгорелся желанием примирить хотя бы по одному представителю сторон конфликта и, недолго думая, выбрал себе в качестве подопытного материала своих коллег – карабахца Сурена Аскаряна и азербайджанца Рауфа Гаджиева, с которыми имел шапочное знакомство. Отправив пригласительные с подробной программой пребывания, где с немецкой педантичностью отметил даже то, сколько времени будет отведено утреннему и вечернему туалетам, он не без тревоги ждал ответа. Нервно похаживая по просторному кабинету своего трёхэтажного особняка, Август, поправляя очки на переносице, куда съехались его светлые, едва заметные брови, размышлял: «Как бы чего не вышло... Не дай Бог ещё дома у меня перегрызутся – тогда не миновать скандала... пожалуй, международного! Кто знает этих кавказцев?! Однако с другой стороны, чем чёрт не шутит, может, и премию мира дадут?»

Воодушевившись последней идеей, он всё ободрял себя: «Должен же, в конце концов, кто-нибудь решиться и попробовать пробить стену недоверия!.. »

Нервничала вместе с ним супруга – фрау Кэтрин, которая всё ломала голову над тем, как преподнести в лучшем виде немецкую кухню и вообще немецкие манеры... «Оценят ли эти горцы мои старания?» – думала она.

Признаться, они не особенно верили в успех затеи и даже сомневались, что гости из далёкого Южного Кавказа вообще согласятся приехать, чтобы стать объектом достаточно рискованного эксперимента...

Но спустя две недели Сурен и Рауф сидели, как ни в чём ни бывало, в гостиной у Августа. Немец предупредительно расположился между кавказцами, бросая напряжённо-настороженный взгляд то на одного, то на другого.

– Ну, надеюсь, вы подружитесь, – как бы сомневаясь, наконец произнёс он, поёрзав в своём кресле.

Кавказцы переглянулись и скромно опустили головы.

Фрау Кэтрин принесла на подносе кофе и, расставляя чашки, вопросительно и немного испуганно посмотрела на супруга, пытаясь догадаться по выражению его лица, как продвигается эксперимент. Но лицо мужа в этот момент было каменным и бледным.

– Итак, господа, напоминаю программу пребывания, – откашлявшись, немец сказал более твёрдо и уверенно.

Минут с десять он читал длинный список предстоящих, до боли знакомых южанам мероприятий: подъём, физзарядка, утренний туалет, завтрак, беседа на тему о толерантности...

– А культурное мероприятие будет? – неожиданно спросил Сурен, незаметно подмигнув азербайджанцу.

Тот столь же незаметно улыбнулся.

– Культурное мероприятие? – Август недоверчиво сощурился.

– Да, – невозмутимо произнёс застрельщик, для предметности нарисовав ладонями в воздухе что-то грушевидное.

Вновь собрав у переносицы невидимые брови, немец, подумав, ответил:

– А что, можно. Придумаем что-нибудь... А пока прошу подготовиться к обеду. У вас, – он посмотрел на часы, – 13 минут.

– А покурить можно? – спросил Рауф.

– Только в саду. Там на столике находится пепельница, а под деревом – три бака для мусора. После того, как покурите, пепел и окурки выбросьте в бак с неэкологическим мусором. Он стоит посередине...

Спустившись без особого энтузиазма в сад, кавказцы нашли загадочную пепельницу. Закурили, выпустив из себя на вздохе облегчения лёгкие, беззаботные кружочки дыма. Лишь после того, как, следуя инструкции, аккуратно стряхнули пепел в пепельницу, заметили, что немец наблюдает за ними с балкона. Тот, терпеливо выждав, когда кавказцы закончат курить и

потушат окурки, для верности ещё раз подсказал местонахождение бака с неэкологическим мусором...

Когда курильщики вернулись, Август почти угрожающе поднял указательный палец:

– Через три минуты – обед.

В соседней комнате фрау Кэтрин уже накрыла на стол. Было всё: разные колбасы, ветчина, жареные мясо и картошка, пиво. Но не было самого главного для жителя Кавказа... Догадались? Ну конечно же – хлеба. Вернее, он был, но в очень малом количестве и только чёрный. К тому же был нарезан тонко, как бастурма. И каждый раз, когда Сурен с Рауфом, опуская в смущении глаза, просили у хозяйки ещё ломтик хлеба, втайне взывали к Всевышнему, чтобы фрау Кэтрин случайно взяла ножом чуть левее, ну хотя бы на полсантиметра... Потом «камрад» (так между собой кавказцы называли Августа) объяснил им, что белый хлеб в Германии покупают только приезжие, и стоит он дешевле чёрного.

– А так, мы не злоупотребляем хлебом, – с некоторым упрёком заключил немец.

Наскоро отобедав, фрау Кэтрин извинилась перед гостями, оделась и вышла.

– На дежурство в больницу, – объяснил Август и начал собирать посуду со стола.

Переглянувшись, кавказцы стали помогать ему.

– О, раз вы хотите пособить мне, то давайте распределим роли, – деловито произнёс немец, надев передник и профессионально завязав у себя за спиной тесёмки бабочкой. – Сурен, возьмите полотенце, а вы, Рауф, подавайте мне грязную посуду.

– Ты дома моешь посуду? – улучив момент, прошептал Рауф Сурену.

– Нет, у меня жена, дочь... бабушка, – удивлённо ответил тот.

– Вот бы посмотрели на нас краешком глаза наши благоверные...

Позже выяснилось, что в семье у Августа, как, впрочем, и по всей Германии, это в порядке вещей. Проявляя «мужскую» солидарность с Августом, кавказцы, меняясь ролями, каждый день, сначала неуклюже и уныло, затем всё искуснее и охотнее возились с тарелками у мойки.

Ужинать немец повёл своих подопечных в ресторан. Кавказцы, в знак солидарности друг с другом и стирания религиозных границ, заказали свиные ножки (фирменное блюдо этого заведения). Они были гигантских размеров.

– Наверное, такие свиньи жили в эпоху динозавров, – пошутил жизнерадостный Сурен, но внезапно сник, так как, к собственному ужасу, обнаружил, что на столе отсутствует хлеб.

Он отодвинул тарелку и наотрез отказался кушать, заявив, что без хлеба не сможет осилить эти громадные ножки. После долгих и нелёгких раздумий «камрад» позвал официанта и, отвернувшись, показал на Сурена пальцем, сказав, что «он хочет хлеба». Оглядев с нескрываемым любопытством необычного клиента, официант несколько смущённо улыбнулся и, произнеся «яволь», направился в сторону кухни. Через некоторое время он принёс и поставил перед Суреном большую корзину с белым и чёрным хлебом. Все посетители ресторана смотрели на Сурена с недоумением. Последний же, оглядевшись, только тут заметил, что ни на одном из столов хлеба нет. Однако от такого конфуза ни один мускул не дрогнул на лице у блюстителя кавказских традиций. Сурен пожалел Рауфа и дал ему ломтик, хотя тот его не поддержал, когда он, отбросив стыд, потребовал хлеба. Во всё время ужина Август сидел вполоборота к Сурену, как будто он был не с ним. Когда необычный гость поел, официант, убрав посуду, подал ему кофе, однако корзину с хлебом оставил...

На обратном пути немец, всё ещё не оправившийся от стыда, долго объяснял своим гостям, что у них принято кушать ужин отдельно, а хлеб – отдельно, и что хлеб и ужин – понятия несовместимые. Сурен не хотел понимать его. Рауф вежливо отмалчивался.

Как только вошли в дом, Август произнёс:

– Заранее предупреждаю, что Сурен будет спать на первом этаже, а вы, Рауф, на третьем. Мы с Кэтрин будем посередине.

Кавказцы еле сдержали смех.

Так прошло два дня. Кавказцы приучались к устоявшемуся, расписанному до мелочей немецкому быту, а немец – к их странностям и капризам. Однажды, будучи в настроении, хозяин подсунил Сурену безалкогольное пиво. Тот пьёт, пьёт, а «прихода» нет... Немец радовался своему розыгрышу, как ребёнок.

– То-то, и я умею веселиться! – довольно повторял он сквозь смех.

На третий день кавказцы сплели небольшой заговор, попросив Августа разрешить им одним выйти в город. Еле удалось уговорить. Они направились в ближайший ресторан. Сурен предупредительно положил во внутренний карман пиджака бутылку припасённой тутовки. Его не испугала вывеска, на которой почему-то на русском было выведено большими и неровными буквами: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки категорически воспрещается! Штраф... марок».

Пока Рауф, достав карманный словарь, возился с меню, пытаясь разобраться в длинном перечне блюд, Сурен, посмотрев сбоку на застывшего в профессиональной позе официанта, на его характерный профиль, тонкие, коротко остриженные усы, произнёс на азербайджанском языке, которым владел не хуже родного:

– Турок?

Дёрнулись тоненькие усики, официант оживился...

Когда он принёс текилу и пошёл за шашлыком, Сурен незаметно вылил содержимое рюмок в цветочный горшок на подоконнике и, не вынимая бутылку из кармана, наклонившись, разлил тутовку. Официант никак не мог понять, почему с каждым его приходом рюмки были полные, но лица гостей – всё краснее...

На следующий день, после лекции о толерантности, во время которой южане клевали носом, Сурен, пошептавшись с Рауфом, сказал Августу:

– А про культурное мероприятие не забыли?..

Вопрос не застал немца врасплох, но он призадумался.

– Сейчас посоветуюсь с женой.

Кавказцы покраснели, попытались остановить его, но он уже звал свою прекрасную половину.

– Вот тебе демократия и равенство полов! – прошептал Рауф Сурену.

С минуту немец шептал что-то на ухо жене, которая не спускала с гостей серьёзного, изучающего взгляда. Затем уже Кэтрин стала что-то объяснять супругу и, выслушав её, Август торжественно произнёс:

– Собирайтесь! Придётся ехать в соседний город.

Радость кавказцев не знала границ. Сурен весело подмигнул своему потворщику. Быстренько побрились, помылись, надушились, приоделись.

Сойдя через пару часов с электрички, заказали такси. Рауф и Сурен всё думали, зачем для «этого» так долго ехать? Но в предвкушении удовольствия готовы были терпеть все неудобства.

Такси встало неподалёку от большого светлого здания. Пройти к нему пришлось через небольшой ухоженный парк.

– Ты посмотри! – неожиданно воскликнул Сурен, показывая в сторону пруда.

– Ух ты-ы! – восторженно откликнулся Рауф.

Переваливаясь, покачивая жирными ляжками, к пруду, где мирно плавала её подруга, шла утка, не подозревая о том, что стала объектом нездорового интереса.

– Что стали? – спросил немец с упрёком.

– Утки! – мечтательно произнёс Сурен, провозжая птицу плотоядным взглядом.

– Ну и что?

– Деликатес! – произнёс Рауф.

– И у вас это съели бы? – изумлённо и почти гадливо произнёс немец.

– Конечно!

– Так ведь в магазинах продаётся.

– Но ведь это дичь... – Сурен стал объяснять немцу.

– Дикари! – бросил немец, не дослушав его, и ускорил шаг.

Посмотрев на здание и почуяв недоброе, Сурен встревоженно спросил у Августа:

– Куда вы привели нас?

Примерно такие же чувства раздирали душу Рауфа. «Тоже мне – Сусанин!» – думал он.

– А что вы хотели? – недоумённо спросил немец.

В ответ, как по команде, Сурен и Рауф нарисовали в воздухе пышные женские формы: первый – груди, второй – бёдра.

– А-а, вот что вы хотите?! – Август словно разоблачил шпионов. – Это исключается! У меня хорошая репутация. Да и проектом не предусмотрено – фонд за «это» платить не будет.

Всё ещё не теряя надежды, что это шутка, и немец просто заигрывает с ними, кавказцы уныло вошли в здание.

– Начнём с третьего этажа, там интереснее, – предложил Август.

Вышли из лифта, вошли в широкую дверь. Странная картина предстала взору опеших кавказцев. Вернее, картины. Они расплывались перед глазами: бесформенные пятна яркого цвета пересекались какими-то кривыми линиями. От разнообразия цветовых сочетаний, геометрических форм, плоскостей, прямых и ломаных линий кружило голову...

– Бардак! – невольно вырвалось у Сурена.

– Хуже! – ответил ему Рауф.

Да, дорогой читатель, ты, наверное, догадался: это был музей абстракционизма. Что ещё оставалось делать бедным искателям приключений, как послушно ходить по всем этажам, внимательно осматривать странные и непонятные им экспозиции и попытаться найти в них логику? Сперва делали вид, что интересно, а потом так увлеклись, что не пожалели про «культурное мероприятие»...

Когда ждали электричку, кто-то пролаял в громкоговоритель на перроне: «Ахтунг, ахтунг!», затем возбуждённо добавил ещё что-то. Сурен с Рауфом перепугались, понимая, что «ахтунг, ахтунг!» не сулит ничего доброго. Первое, что пришло в голову Сурену – начинается бомбардировка и нужно бежать в подвал. А тут Рауф с бледным лицом вдруг говорит тихо: «Война! Немцы напали на Россию...».

«Камрад» успокоил своих попутчиков, объяснив, что электричка запаздывает, по пути следования случилось небольшое ЧП. Придя в себя, Сурен спросил у Рауфа, почему тот решил, что немцы напали на Россию? Но Рауф толком так ничего и не ответил, сказав, что это первое, что пришло ему в голову. Впрочем, оно и понятно, мы, бывшие советские люди, насмотрелись фильмов про войну 1941-1945 годов и, слыша слово «ахтунг», думаем, что началась война. А войн в наш век – хоть отбавляй, они давно уже перешли с экрана телевизора в реальную жизнь, став, увы, обыденностью...

По возвращении Август со сдержанным смехом рассказал жене о «культурном мероприятии», и та получила колоссальное удовольствие от такой «накладки»...

Неделя в Германии приблизилась к концу. В последний день гости в знак благодарности решили прибраться в саду у Августа. В ход пошли лопаты, грабли. Когда собрали в кучу сухие ветви, у Сурена появилась идея зажарить настоящий кавказский шашлык и угостить напоследок хозяев. Поделились этой мыслью с немцем. Он озабоченно спросил:

– А что будем зажигать?

– Сухие ветки.

Пауза. У хозяина появилась характерная напряжённая складка у переносицы, не предвещавшая ничего хорошего:

– У нас же нет шомполов...

Но отговорка не вышла.

– Можно пару веток с дерева срезать – вот тебе и шомполы, – вдохновлённо парировал Сурен.

– Надо у жены спросить, – побледнев, сказал Август и пошёл в дом совещаться.

Вернулся он ещё более озабоченным:

– А если в камине зажарим?

Наступила неловкая пауза.

– Понимаете, у меня репутация... Кроме того, соседи могут упрекнуть меня в том, что я не только эксплуатирую приезжих, но ещё и экологию загрязняю...

Прощаясь в аэропорту, Сурен и Рауф с кавказской готовностью приглашали Августа с супругой в гости. Немец, довольный тем, что эксперимент прошёл без эксцессов, обещал непременно приехать...

В самолёте Сурен несколько раз просил стюардессу принести дополнительно хлеба. После пятого раза та сердито сказала, что хлеба больше нет, хотя первые четыре булочки принесла с милой, «понимающей» улыбкой.

Сурен смотрел в иллюминатор, забылся. Снились нарядные парки, дома в готическом стиле, доброе, но озабоченное и подёрнутое легкой грустью лицо Августа... А очнувшись, нашёл себя крепко прижимающим к груди булочку хлеба.

Когда выходил из самолёта, всё было как в тумане, нереально, словно в музее абстракционизма... Но вдруг кто-то наступил ему на ногу и, вырывая у него дорожную сумку, крикнул в ухо:

– Брат, куда надо? Скажи, довезу!

Сурен понял, что он уже дома, и на душе стало тепло и спокойно...

*2006 год*



## *Коту под хвост*

*(Быль о том, как философ кошек кормил)*

Студенческая жизнь полна курьёзов, но мне больше всего запомнился один случай.

После десятилетки мы со школьным товарищем поступили в один и тот же университет в большом городе: я на филологический факультет, он – на философский. Сняли комнату рядом с университетом.

Комната – сильно сказано! Она была карикатурна: три на три метра жизненного пространства, потрескавшаяся штукатурка стен, местами покрытая плесенью, фанерный потолок, почти касающийся макушки наших голов, а за фанерой на чердаке... кошки. Они вечно царапали потолок с той стороны, грызлись между собой и кричали так странно и неестественно, подобно судорожному плачу ребёнка, что я порой просыпался посреди ночи в холодном поту. Товарищ же мой спокойно, по-философски заключал, что кошки голодают и следовало бы накормить их. Разумеется, дальше слов дело не шло: самим было не до жиру (у студента и кость голодная). Но к кошкам и кошмарам, связанным с ними, мы ещё вернёмся...

Ради справедливости надо сказать, что за стеной была ещё и небольшая кухня общего пользования, с газовой плитой и краном. В общем, минимально необходимые для жизни условия и никаких излишеств. Ко всему прочему хозяйка, сгорбившаяся под тяжестью лет маленькая старушка с живописно крупным носом, чем-то напоминавшая сказочную Бабу-Ягу, сразу же, едва познакомилась с нами, предупредила: «Девушек не приводить!» Признаться, тогда нам было не до них: собственных забот хватало.

Моего товарища-философа звали Лорик. Наверное, такими и бывают начинающие философы: рассуждают умно, но слишком много и обо всём сразу, словно бояться, что больше не представится возможности выговориться, однако совершенно беспомощны в практических делах. Лорик мог беспрерывно и энергично говорить в буквальном смысле до самого утра, но стоило предложить ему сделать что-нибудь по хозяйству, как весь его энтузиазм пропал, горящий доселе взор вмиг затухал, словно выключенная водителем фара машины, а сам он становился вялым и немного грустным.

Когда в первое после новоселья воскресенье я предложил Лорику сделать генеральную уборку, его лицо стало трагичным. Он поспешил выступить со встречным предложением: перенести уборку на следующее воскресенье. Однако я твёрдо стоял на своём.

Мы вынесли из полуразвалившейся тумбочки в углу хлам, сохранившийся от прежних обитателей нашего нелепого жилища, распределили участки, вооружились тряпками, тазиками с водой. Я невольно следил за неловкими движениями Лорика, который протирал на корточках пол под кроватью, за его нервной, периодически вздрагивающей спиной и наверняка знал, что про себя он ругает меня. Однако по завершении уборки философ облегчённо вздохнул и вроде бы сделал мне комплимент:

– Ты у нас прямо-таки Горбачёв!

По всей видимости, он хотел сказать, что как Михаил Горбачёв в масштабах всей бывшей советской империи, так и я, в отдельно взятой комнатухе, осуществили перестройку. И надо признаться, вскоре мои усилия действительно дали плоды – в один прекрасный день Лорик совершенно неожиданно сам проявил хозяйственную инициативу.

Вот как это было. В воскресенье Лорик собирался в баню. Накануне он, к моему искреннему удивлению, предложил с утра, до бани, разрубить мясо, которое мы хранили в холодильнике у хозяйки. Тогда в городе действовали всего две-три бани, и нужно было явиться туда пораньше, чтобы часами не ждать в очереди. В общем, на завтра, едва забрезжил рассвет, Лорик уже был на ногах. Я же решил немного понежиться в постели, в душе восхищаясь инициативой товарища. Не тут-то было!

Предутреннюю тишину в округе нарушил топор философа: он приступил к разделке мяса. Но какие-то странные, вечно меняющиеся звуки сопровождали эту нехитрую вроде бы процедуру – как будто аккомпанировал целый оркестр. Что-то падало, шлёпалось о стену, билось о стекло. Вокруг всё дрожало и дребезжало. Потом вдруг раздался сильный треск, грохот упавшего предмета, скорее всего, табурета, лязг клинка отлетевшего топора... Мне было ужасно интересно посмотреть, что творится за дверью, но лень было вставать. Потом вдруг всё стихло.

Напряжённую паузу нарушил ржавый скрип приоткрывшейся двери: Лорик как-то подозрительно и неуверенно просунул голову в образовавшуюся щель и произнёс:

– Мясо готово. Я пошёл в баню.

Я чувал, что произошло нечто неординарное и не совсем хорошее. Вскоре мои предчувствия подтвердились: за дверью послышалось недовольное бурчание старушки. Я встал и, спрятавшись за дверью, осторожно приоткрыл её. Удивительная картина представилась моему взору: площадка напротив нашей каморки и кухни была сплошь покрыта мелкими, словно специально наструганными, кусочками мяса. Стены и стёкла были обрызганы кровавыми крошками, с потолка свисала длинная, тоненькая жилка... Я перевёл взгляд и с ужасом заметил валяющийся в углу расколотый напополам табурет. Рядом клинком вверх лежал топор. Я молча закрыл дверь и лёг обратно в постель, уйдя с головой под одеяло, чтобы не слышать ворчание старушки.

Через пару часов вернулся мой посвежевший после бани товарищ с румянцем на щеках. Он всё уводил глаза от моего упрямо-вопросительного взгляда. Неловкая пауза длилась с минуту. Наконец Лорик, достаточно нагло, нарушил тишину:

– Что? Старушечка возмущалась?

Тут и ко мне вернулся дар речи:

– Лорик, я могу понять сломанный по неосторожности табурет, но за собой почему не прибрал?

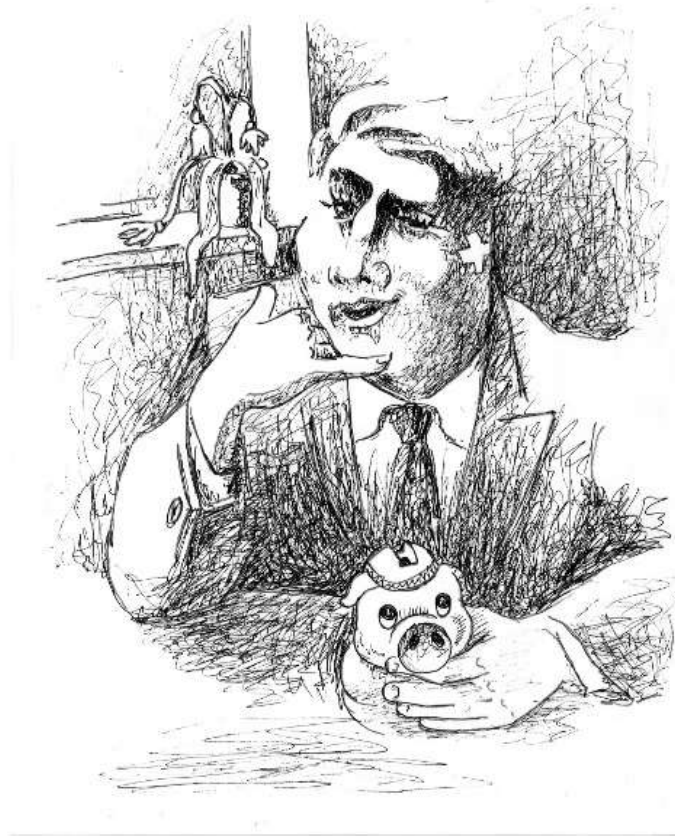
Ответ не заставил себя ждать:

– Думал, пока вернусь из бани, кошки полакомятся отходами.

– ?!

На кухне на дне кастрюли лежал жалкий комочек мяса – словно кот заплакал... Мы не знали, что с ним делать. Скормили бы кошкам, да вот, видно, убежали они, пока начинающий философ махал топором, будоража всю округу...

*2007 год*



### ***Желчный пузырь***

– Аполлон? – Самохвалов (так прозвали Восьмира Карапетова сослуживцы за почти патологическую привычку хвалить себя) вышел из ванной комнаты, обмотав интимные места полотенцем.

Жена не обратила абсолютно никакого внимания ни на его слова, ни на него самого, продолжая смотреть растянувшийся на четвёртый месяц бразильский сериал.

– Аполлон?! – повторил Самохвалов воодушевлённо, стараясь как можно глубже вобрать в себя вялый живот и выпятить белую безволосую грудь.

Жена наконец оторвалась от экрана телевизора, окинула его почти презрительным взглядом и спросила с ехидством:

– О чём ты?

– У кого такая мускулатура, как у меня? И вообще, у кого такой супруг – красивый, умный, сильный?

– Перестань дурачиться – простынешь. Надень кальсоны, холодновато уже.

Напевая: «А ты такая холодная, как айсберг в океане...», непризнанный, но невозмутимый Аполлон удалился в спальню...

В 40 лет Самохвалов, достаточно преуспевающий чиновник средней руки, умудрился окружить себя почти одними недоброжелателями и врагами. Тот, кто впервые видел Самохвалова, его конфетную, слащаво-красивую внешность и сдержанные манеры, думал: «Какой обходительный человек!» Однако за налётом культурности скрывались фальшь и коварство. Внешняя добропорядочность по сути была лишь наживкой, перед вами стояла настроенная на особый лад машина, заиклившаяся на самолюбовании и интрижках. Он мог напускным участием и лестью расположить к себе человека, использовать его, узнать всю его подноготную, а затем в нужный момент использовать это против него. При всём при этом Самохвалов вечно гладил себя по головке, беззастенчиво пытался убедить своего визави в том, что он самый умный, самый грамотный, самый красивый, что свет клином сошёлся на нём. «Видать, неспроста мне дано такое имя – Восьмир!» – тешил себя Самохвалов. Он был искренне уверен в собственном совершенстве.

– Конечно, я не Аллен Делон, но всё познаётся в сравнении, – порой «скромно» вставлял он, когда чувствовал, что слишком перебарщивает.

Самохвалов принадлежал к типу людей, которые стараются брать у других по возможности больше, взамен не отдавая практически ничего.

– Кажется, ты не хочешь, чтобы тебе помогали, – поучал он собеседника, когда тот рассказывал, как с лихвой отблагодарил человека, сделавшего ему добрую услугу.

При этом он держался с окружающими с определённой надменностью, как барин – будто все были должны ему.

Будучи поглощённым созерцанием собственного пупа, Самохвалов никогда не рассуждал о высоких материях, не пытался добраться до сути вещей, предпочитая видеть лишь то, что бросалось в глаза. Об отвлечённом, абстрактном он судил с недоверчивым прищуром, однобоко и незрело, по-детски осуждающе. Разумеется, такой человек не мог верить в Бога. Он даже имел наглость заявлять во всеуслышание:

– Где этот ваш бог, покажите мне его, дайте пощупать?

Собеседники часто уходили от него ошарашенные.

– Что за человек? – разводил иной руками.

Зато у Самохвалова, как вы могли догадаться, был свой бог – золотой телец, или, говоря проще, деньги. Получал он деньги охотно, отдавать же их было настоящей трагедией. Он никогда не садился в общественный транспорт, не тратил копейки на холодное пиво в жару, даже если этого жаждали все фибры души, хотя не прочь был выпить за чужой счёт. При этом наш гобсек мог самодовольно ввернуть:

– Чего скрывать – в банке у меня на счету 500 тысяч...

Заработать деньги, равно как и выманить, выклянчить, вытребовать их, стало для Самохвалова навязчивой, неотвязной идеей. В душе у него никогда не болело, если не считать уколов зависти – только успех других мог вывести его из равновесия. Он не мог сопереживать, соболезновать, сорадоваться другим. В общем, как выразился один из коллег, «монетная душа». Будь Самохвалов чуть поумнее и искреннее, наверное, признался бы себе: «Удивительно, ничего не болит, а жив». Впрочем безжизненно-тусклый взгляд Самохвалова, портящий конфетную внешность, как нельзя лучше отражал его внутреннее содержание.

Во время совещаний на работе Самохвалов садился с важным видом поближе к высокому начальству. Сам почти не говорил, но следил за всеми, подмечая промахи в их речи и манерах. Потом с желчью передразнивал коллег – надо сказать, что артистизма у него хватало. В дни, когда желчь у Самохвалова переливалась через край, он фыркал на всех, а тем, кто был послабее, делал резкие замечания.

– Молодой человек, уж не в огород ли собрались? – как бы невзначай мог упрекнуть он молодого коллегу самым язвительным тоном. – Где галстук, почему небриты?

– Не успел...

– А я вот всегда успеваю, – говорил Самохвалов, перебивая его и самодовольно глядя тыльной стороной своих холёных белых женских рук собственные бледные щёки.

– Тебе-то и нечего брить, – безмолвно-агрессивно реагировал тот про себя.

На работе Самохвалова сторонились. Некоторые даже откровенно боялись его: он мог взвести напраслину на кого угодно. Самохвалову бы впору, как говорится, привязать к языку лошадь, а нет: безнаказанность и нежелание окружающих «связываться» всё больше подзадоривали его. Когда же кто-то пытался острастить, призвать к ответу, он недовольно морщился:

– Ну, сказал в сердцах... Донесли суки!

А вслед бормотал с презрением:

– Всякая фитюлька ещё учить будет как жить!

Коллеги долго терпели Самохвалова, однако чаша терпения наполнялась – тихой сапой приближался час расплаты.

Однажды коротким зимним вечером четверо коллег помоложе – трое мужчин и женщина – устроили ему тёмную. Они подкараулили Самохвалова прямо у выхода здания учреждения и, набросив ему на голову большой мешок, изрядно потрепали его содержимое. Особенно старалась женщина, которую Самохвалов бесцеремонно называл Губошлёпом. Она не удержалась и, нарушив положенный в таких случаях обет молчания, обозвала Самохвалова

скупсом за то, что он вечно «вонял» (правда, в горячке борьбы жертва не узнала её голоса). Затем случилось самое ужасное – совершенно неожиданно (на это способна только оскорблённая и обзлённая женщина!) она, поправив пальцем на переносице очки с позолоченной оправой, резко протянула руку к нижней части живота Самохвалова, нащупала там что-то и в сердцах сжала кисть. Самохвалов взвизгнул, подобно поросёнку под ножом у мясника, затем вдруг обмяк, рухнул с жалобным писком на колени и как-то неуклюже повалился на бок...

Когда он пришёл в себя и выбрался из мешка, весь седой – то ли от алебастровой, то ли от мучной пыли, рядом никого уже не было. Произошедшее казалось ему неправдоподобным, невероятным и даже невысказанным...

На следующий день Самохвалов явился на работу с надутой маской: лицо его выражало холодную оскорблённость. Он прихрамывал, большие тёмные очки скрывали фонарь под левым глазом. Удивительно, но даже сейчас Самохвалов был на редкость самодоволен, за тёмными очками чувствовался его высокомерный мутный взгляд. В своём избиении он подозревал чуть ли не весь коллектив, ибо врагов и недоброжелателей, как уже говорилось, у Самохвалова было в достатке. При встрече с коллегами у него сверкала недобрая усмешка: Самохвалов как бы давал понять, что у него есть некий тайный план, и он ещё покажет всем! Однако, взвалив на себя неблагодарную миссию заносчивого неудачника, он по своей природной малодушности боялся предпринять что-либо сам и надеялся отомстить обидчикам чужими руками. Самохвалов писал жалобы начальству, требовал суровых санкций, однако ответом было холодное молчание, равнозначное отвращению. Все нос воротили от него. И даже цветы в кабинете у Самохвалова почему-то стали вянуть – каждую неделю оттуда выносили горшки с мёртвыми растениями... Обида, словно яд, разъедала Самохвалова. У него пропал аппетит, он не мог спать по ночам...

И вот однажды, когда Самохвалов заснул, замученный навязчивыми мыслями, ему приснилось, что лежит на больничной койке.

Над ним стоял врач, готовясь к операции. Вдруг за операционной маской Самохвалов узнал одного из коллег, которого больше всех подозревал в своём избиении, и ужас овладел им. «Не ровён час, – съёжился Самохвалов, – может и зарезать». Тут медсестра подала врачу скальпель, и при виде острого хирургического ножа, словно под воздействием сильного наркоза, Самохвалов забылся, впал в беспамятство...

Проснулся пациент уже другим: как и прежде ничего не болело, но теперь какая-то неведомая доселе умиротворённость и лёгкость разлились по всему телу. Вокруг никого не было, врач и медсестра ушли куда-то. Самохвалов встал с койки, пощупал себя. Всё на месте, только вот в брюшке будто просторнее стало. Тут его осенило – желчный пузырь удалили!..

Прямо из больничной палаты Самохвалов направился на работу. Вопреки своему обыкновению он заказал такси и даже дал таксисту чаевые.

В дверях учреждения он встретил своего молодого коллегу с недельной теперь уже щетиной.

– А ведь главное не наружность, – сказал он, к удивлению своему, без какой-либо задней мысли. – Так вам даже больше идёт!

Потом он сделал изящный комплимент сотруднице, которую называл Губошлёпом.

Он по очереди входил в кабинеты, виновато улыбаясь, обнимал изумлённых коллег, просил их простить все его прегрешения:

– Как говорится, кто старое помянет...

Куда-то исчезла физиономия циника – Самохвалов был сама Доброта и Скромность.

– Что с ним? – удивлялись сослуживцы.

– Меня вылечили!.. – неожиданно воскликнул Самохвалов, но тут... действительно проснулся – весь в холодном поту. Отдышался, протёр глаза, пощупал себя, стал будить жену.

– Страшный сон приснился, женушка! – произнёс он испуганно.

– Что такое? – буркнула она спросонок.

– Будто желчный пузырь вырезали... Как хорошо, что всё это сон! Как же я без желч...

– Дай поспать, прошу тебя... – жена резко повернулась на другой бок.

Самохвалов до утра не мог сомкнуть глаз.

«Как хорошо, что всё это сон», – бесконечно повторял он про себя...

## **ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ**

### **Дед Мороз**

#### **(Исповедь в канун Нового года)**

– Папа, расскажи, как ты был солдатом, – буквально за час до наступления Нового года просит, требует рассказать на сон грядущий трёхгодовалый сынишка.

– Когда на нас напали... – я хочу сказать «турки» (так мы почему-то называем азербайджанцев), но останавливаюсь, – я взял автомат и пошёл защищать нашу землю. Вот так я и стал солдатом...

– А зачем ты пошёл защищать нашу землю?

– Чтобы ты родился, сынок, – говорю я после некоторой паузы.

Ребёнок слушает, затаив дыхание. Постепенно, входя в роль сказочника, начинаю рассказывать ему про боевые действия: как мы стреляли в «них», а они – в «нас»... и вдруг чувствую какой-то стыд. Попробуй объясни ребёнку, что мы стреляли друг в друга для того, чтобы... убивать. Убивать, чтобы... родился и жил он... Такие, как он, которым жизнь пока рисуется интересной, безобидной сказкой со счастливым финалом. Я замолчал.

– Папа...

– ...

– Папа, почему ты «теряешься»?

– ...

Я не оспариваю справедливость этих слов малыша: «папа часто теряется». Ведь малыш, наверное, хочет сказать, что отец порой так отдаётся своим думам, «уходит в себя», иногда даже прямо посреди оживлённой улицы, что «не достучишься» до него никак, словно спит на ходу. И, если честно, есть папе отчего призадуматься, что вспомнить. Он один из немногих бойцов отряда, который, участвуя с первых дней войны в самых тяжёлых боевых операциях, остался жив. Рядом, сражённые, падали, гибли товарищи...

Вот ни на минуту не выпускавший из рук пулемёт и даже отдохавший с ним в обнимку в сырых окопах Аркадий – гроза вражеской пехоты. Пуля прошила ему живот, он держал руку на кровавой ране и... улыбался. Между пальцев текла багровая кровь, а он так и умер с улыбкой на лице...

Вот Юра, фাগотчик. Перед тем, как навсегда покинуть ребят, он успел подбить три вражеских танка и две БМП. Однажды, когда по радиации сообщили о наступлении бронетехники противника, он невозмутимо справился об их количестве.

– Два танка, – ответили ему.

– Так мало?! – произнёс он с неподдельной досадой.

Борик в агонии звал маму и просил простить его. Он был единственной опорой пожилой матери и жены с двумя малолетками.

А это Амаяк, друг детства... с расколотым черепом. В кармане у него нашли клочок пожелтевшей бумаги. В ней, к изумлению товарищей, оказались стихи, поразительное четверостишие:

*Молись за меня, дорогая!*

*Молись за того, кого нет.*

*Кто, голову низко склоняя,*

*Пошлёт из могилы привет.*

Чуть ниже:

*Мой Бог, молю: во мгле ночи*

*Не погаси моей свечи...*

Вереницей проходили перед его мысленным взором ребята, погасшие как свечи в ночи. Под огнём противника он выносил с поля боя раненых и убитых, и было тогда не до слёз – слёз и не хватило бы оплакивать их...

Впрочем, противник нёс гораздо большие потери. После одного из боёв во вражеском окопе нашли груды неподвижных тел. Трупы лежали штабелями. Почти у всех в карманах находились студенческие билеты. Некоторые же были убиты выстрелом сзади – они не сдали роковой экзамен. В открытых, устремлённых в небо глазах юнцов были одновременно ужас и удивление... По-человечески было жалко и их...

– Папа, а почему ты тоже не стал камнем? – прерывает мои воспоминания малыш. (Пару дней назад я водил его на мемориальный комплекс и показал памятники на могилах моих боевых товарищей. Тогда он молчал и не задавал вопросов. Лишь когда я положил на могилу цветы, он спросил: «А разве у них есть руки, чтобы взять цветы?»).

– Я вышел из камня и пришёл к тебе.

– А другие почему не пришли?

– ...

Малыш не даёт паузе развиваться.

– А тебя не ругали за это?

– ...

Лишь потом, уже после войны, я ужаснулся: как-то тихо, незаметно ушли друзья-товарищи, не попрощавшись, словно и не жили на этом свете никогда. Я был ошеломлён этим открытием... Неужели и я мог оказаться на их месте? Не верится... Живому трудно представить себя мёртвым, как, наверное, весело журчащему ручейку трудно представить себя льдом. А впрочем, что я говорю?! Ведь родники рождаются из, казалось, мёртвого и холодного льда, как, впрочем, и герои рождаются... из смерти, героической своей гибели, а точнее, возрождаются.

Да, война непонятным, а вернее, понятным только ей образом сберегла меня в самых сложных ситуациях, хотя я был достаточно крупной, открытой, можно сказать, неуклюжей мишенью. Впрочем пуля – дура: однажды лёжа на сопке, в безопасном, недостижимом вроде бы месте, вдруг почувствовал в ботинке горячую боль – сразу три пули, пущенные очередью, раздробили стопу... «Кажется, задело», – буркнул я себе под нос. И когда из ботинка, словно из фонтана, в три струи хлынула кровь, понял, что теперь настала очередь ребят пособить мне.

– Папа, а почему тебя «выгнали» на войне? – видно, не понимая до конца значения слова, спрашивает малыш.

– «Выгнали»? – пытаюсь уточнить я, с трудом отрываясь от своих мыслей и возвращаясь к действительности.

– Да, выгнали, – твёрдо и настойчиво повторяет он.

И мне приходится выдумывать легенду про то, как меня «выгнали на войне»... Видать, он хотел сказать, почему тебя «выгнали на войну» или «выгнали с войны»? Я начинаю бормотать что-то, не совсем понятное мне самому. Мой ответ, как и следовало ожидать, не убедил его, и он спрашивает:

– Папа, а почему ты стал солдатом, а не Дедом Морозом?

– ...

– Ведь Дед Мороз не стреляет, а раздаёт подарки.

– Ну, из подарков мне достался автомат, – пытаюсь выкрутиться я.

– Война – это плохо, папа, ты знаешь?

– Да, сынок.

– А почему взрослые играют в войну, если это плохо?

– ...

– Война – это когда ножом ударяют в глаз. Если ты будешь воевать, то из ноги твоей будет идти кровь.

– У меня из ноги уже текла кровь... – говорю я, чтобы сказать что-то.

– Ничего, заживёт, – успокаивает малыш.

Но я вдруг чувствую себя исполосованным, растерзанным, ослеплённым... Словно война всей своей тяжестью, жестокостью, бесчеловечностью разом обрушилась на меня, одного только меня... Я, беспомощный, лежу на сопке, стрекочет пулемёт противника, автоматные очереди с обеих сторон решают сумерки. Наши тихо матерятся, пытаются засечь пулемётчика.

– Попал! – кричит кто-то.

Мне же всё это кажется сном.

Сынишка больше не спрашивает.

– Ты спишь, сынок?

– Я думаю, – неожиданно отвечает он. – Вот вырасту и пойду на войну, буду стрелять в этих плохих, поубиваю всех... Папа будет далеко... Плохие солдаты захотят убить меня, но я всех поубиваю, вернусь домой и буду рассказывать...

Теперь молчу и думаю я.

– Папа, а что подарит мне Дед Мороз?

Ночью я положил ему под подушку плюшевое солнышко – это армяне из далёкой Франции прислали защитникам Карабаха вместе с сухим супом из чего-то непонятого, подозрительно напоминавшего лягушачьи ляжки. Давишь пальцем солнышко в животик, а оно весело говорит: «Я люблю тебя!» На французском, правда, но какая по большому счёту разница?..

Пусть Дед Мороз подарит ребёнку мирное небо... Чтобы дети, повзрослев, не стали фидаи, чтобы они лишь играли в войну – отцы вдоволь пролили крови за них...

*2006 г.*



## *Дом, который стрелял*

Горячим летом 1992-го в Мартакертском районе Нагорного Карабаха полыхали бои. Прорвав оборону карабахцев, многократно превосходящий по силам противник вошёл в село Кичан. С ужасом и скорбью на лицах женщины с детьми и старики оставляли насиженные места. Отряд защитников села отступил в лес.

«Я останусь, – говорил сам с собой старый охотник, заправляя дробовик. – Куда мне теперь идти?»

Завтра ему исполнится 82. Впрочем об этом он и не помнил...

«Рука ещё держит, не дрожит, – бурчал он себе под нос, любовно проводя шершавой ладонью по гладкому стволу. – Лишь бы глаз не подвёл...»

Дед опоясался патронташем, поднялся на крышу, устроился среди всяческого полезного хлама, которым он по старческой своей бережливости забил чердак – авось когда-нибудь пригодится.

Вдруг он вспомнил Нахшун, покинувшую его 4 года назад. Жена, в белых одеждах, была как живая, с распущенными длинными волосами, гораздо моложе своего предсмертного возраста, словно не ушла в мир иной, а находилась во дворе, хлопотала по хозяйству, доила корову, которая вдруг мелькнула тенью и исчезла...

– Я постель свежую постлала, – вдруг сказала Нахшун, обернувшись и заглянув ему в глаза. – Теперь будешь спать спокойно: клопов всех раздавила, больше не будут кусать...

Старик очнулся...

«Зовёт меня, соскучилась, – объяснил он себе. – Правильно сделала, что раньше ушла, чтобы не видеть этого позора. А теперь и меня к себе зовёт – видать, там лучше, покойнее...»

Старик посмотрел вверх: солнце было в зените.

«Зачем пытаться тушить в других частичку света, дарованного свыше?» – подумал он...

Вдруг неистово залаял соседский Богар – старик крепче сжал ствол ружья. Точно так же пёс залаял однажды зимним вечером, когда в хлев прокрался волк. Старик выбежал с ружьём на крики соседей и пристрелил хищника. Правда, волк успел загрызть овцу... Теперь Богар снова надрывался – не его ли, старика, звал на помощь?

Но что это? Короткая очередь – и жалобный, угасающий визг. Не ожидал бедный Богар, что однажды люди пристрелят и его...

Старик зарядил двустволку, устроился между мешками и навёл ствол на калитку.

К усадьбе приближались трое с автоматами наперевес. Азербайджанцы громко и весело переговаривались, совершенно не подозревая об опасности. Они входили как хозяева, ногой распахнув калитку, заскрипевшую, словно пожаловавшись, пронзительным ржавым скрипом.

Тот, что был пониже и пошире в плечах, пошутил:

– А что в доме нет армянских собак? Что-то никто не встречает...

Все громко рассмеялись.

– Нехороший это знак – значит, за душой у хозяев не было ничего – охранять нечего, – ответил второй, худой и обросший.

Третий молча кивнул, отшвырнув ногой садовую лейку, которую старик впопыхах бросил у входа в огород.

– А это мы ещё проверим, – сказал первый, направляясь к деревянной лестнице, ведущей в дом. – Эти армя...

Он недоговорил. Раздался хлопок – аскер упал. Тут же последовал другой выстрел. Каждая пуля была ценою в жизнь. Пока старик перезаряжал ружьё, третий успел выбежать за калитку. В околотке послышались крики. Звали на помощь. Подоспевшие аскеры прилегли возле калитки, не решаясь переступить порог усадьбы. Дед менял своё место и стрелял. Казалось, что в доме расположился целый отряд...

Аскеры не пытались штурмовать дом. Началась какая-то возня возле деревянного забора. Старик догадался, что они обкладывают дом всем, что может воспламениться. Из покинутых хозяевами соседних домов несли сено, дрова, доски. Обложив усадьбу со всех сторон, облили бензином и подожгли.

Дом долго горел, охваченный ярким, всепожирающим пламенем. К удивлению азербайджанцев, оттуда не доносились крики горящих людей. Но выстрелы продолжались, дом

всё ещё сопротивлялся. Это разрывались патроны, припасённые стариком. Вскоре пламя спало. Дом уже тлел угольями, задыхаясь едким дымом. Но выстрелы продолжались...

Из дома никто так и не вышел... На пепелище лежал обгоревший остов охотничьего ружья...

*2006 год*

## *Бакинский разворот*

Перед тухнувшим взором раненого стояло широкое, улыбающееся, яркое, словно солнце, лицо. Невысокий голубоглазый крепыш с густой рыжей бородой что-то говорил ему. Раненый почти не слышал его, но по выражению лица догадывался, что он произносит что-то доброе, обнадеживающее. Раненый сомкнул веки, но свет и улыбка остались. Дальше он уже ничего не помнил...

С тех пор прошло 12 лет. Однажды летним вечером позвонили в дверь.

– Здравствуй, братишка. Ты помнишь меня? – непринуждённо спросил с порога рыжий коренастый мужчина лет пятидесяти у молодого человека с продольным шрамом на лбу.

След от раны на коже как-то сжался, но спустя миг образовавшаяся у переносицы напряжённая складка резко распрямилась, и на лице у молодого человека появилась гримаса неподдельной радости, примешанная некоторым удивлением. Распахнув объятия, они шагнули навстречу друг другу. Обнялись крепко, как делают это старые боевые товарищи. С минуту длилось молчание, орошённое скупой мужской слезой.

– Все эти годы был в России, в Красноярске. Вот приехал родственников навестить... О тебе всегда помнил.

Потом уже в гостинной, затянувшись сигаретой, Гурген рассказывал:

– Этот день навсегда врезался в мою память – 22 августа 1992 года. Во время развода в нашем автобате подошёл боец. Сразу было видно, что он прямо с поля боя. И не только потому, что был грязным и сильно обросшим, а в руках держал автомат с двумя магазинами, перехваченными посередине изолентой, но на нём была какая-то особая печать войны, по которой безошибочно можно было узнать в нём вояку даже со спины, не видя его усталого, почти изнурённого лица, напряжённого лба. С минуту он говорил с нашим комбатом. Потом командир позвал одного из водителей, сказал ему что-то. Тот, подумав, покачал головой. Позвал другого. И этот, видно, колебался. Я подошёл, узнал в чём дело: под мостом тяжело раненный, дорога простреливается из танка, никто не решается идти на помощь...

Гурген выпустил изо рта дым, посмотрел куда-то вдаль, словно вслед своей мысли, и продолжил.

– Так и быть, поеду, – сказал я командиру. – Тогда я на своём УАЗике шёл на самые опасные и тяжёлые участки. Рыжего знали все: и рядовые солдаты, и генералы... Правда, у меня был свой секрет: выпивал перед действием. Пил до тех пор, пока не «замкнёт» в глазах. Фляжка коньячного спирта всегда была у меня в запасе... Этика жизни, ничего не поделаешь.

Гурген любил с некоторой поучительностью повторять фразу: «это – этика жизни». Он заключал ею практически каждый свой комментарий той или иной нестандартной ситуации, которых на войне было хоть отбавляй.

Из-под густых рыжих усов с опалёнными кончиками выплыла очередная порция дыма; беззаботно поднимаясь вверх, невесомые кружочки таяли, не доходя до потолка.

Гурген продолжил:

– Я отвёл бойца в сторону, предупредив: «Только делайте что скажу». Моё условие заключалось в следующем: я на скорости проезжаю место, где находился раненый (будто ехал не за ним), затем резко торможу, разворачиваюсь и еду обратно, почти не сбавляя скорости. Бойцы к тому времени должны были подвести раненого к обочине и, когда я приторможу машину, как можно быстрее положить его в кабину рядом со мной. Так мы должны были перехитрить их танк... Этика жизни, по-другому нельзя.

На широком скуластом лице Гургена играли желваки. Он рассказывал просто, незатейливо, и лишь «этика жизни» заставляла невольно призадуматься и переосмыслить услышанное. Иногда казалось, что эта фраза не к месту, но потом, по размышлению, становилось ясно, что в принципе всякое проявление жизни, пусть даже нестандартное и драматическое, можно охарактеризовать именно так – как норму и логику развития той или иной ситуации.

– Я сел за руль. Разумеется, до этого принял на грудь, влив в себя полфляжки зелёного коньячного спирта. В глазах действительно замкнуло – теперь мне ничто не было страшно, и даже азарт какой-то появился: я готов был перехитрить саму Смерть и чувствовал в себе достаточно сил для этого. Трюк, который я должен был проделать на простреливаемом участке, в нашем батальоне называли «бакинским разворотом». Почему этот короткий и быстрый

обманный манёвр назывался именно так? Не знаю. Может, его действительно бакинские лихачи придумали, а может, это просто ирония над противником – мол, одолеваем его собственным же его оружием... Как видишь, всё прошло удачно. Там, наверное, и не поняли, что произошло... После, уже в казарме, я выпил залпом целую кружку коньячного спирта и отрубился до следующего утра... Сейчас я к спиртному не притрагиваюсь – план свой ещё в войну перевыполнил, как в советском анекдоте про конец света – пятилетку за три дня. Зато другая, как видишь, страсть появилась – много курю: новую сигарету прикуриваю от потухающей... Этика жизни, против не попрёшь.

– А мне тогда показалось, что это уже Ангелы Божьи за мной пришли, – наконец заговорил Армен, до этого слушавший своего спасителя молча и без каких-либо внешних эмоций. – После того, как истекая кровью, прошёл пару километров и вконец обессилел, я прилёг и вскоре почувствовал, как мир отворачивается от меня. Нет, страха не было. Просто было как-то жаль вот так тихо и глупо уйти. Главное – не хотелось умирать в одиночестве, без свидетелей. Но судьба распорядилась иначе: меня заметили бойцы с ближайшей высоты...

– Этика жизни... – последовал ответ.

Разговор двух фронтовиков продолжался до утра. Колечки сигаретного дыма, словно контуры воспоминаний, появлялись и таяли в воздухе. На смену им приходили новые, оставляя после себя зыбкую сероватую пелену.

Прошлое казалось нереальным, но воспоминания, словно сигареты, зажигающиеся от своего ещё не догоревшего предшественника, воспламенялись друг от друга, будоража раненую память...

*2006 год*

## *Дитя войны*

Лёля не узнала мать, да и не могла узнать. Она смотрела на неё большими агатовыми глазами как на чужую, но не равнодушно, а удивлённо и немного испуганно. Когда человек в военной форме попытался взять её на руки, девочка закричала на азербайджанском: «Ёх, ёх!» («Нет, нет!») и прильнула к няньке. Мать сама казалась растерянной – она не узнала дочь...

Весна 1992 года в карабахском селе Марага окрасилась в цвет крови. Кругом хозяйничали смерть и ужас. Уцелели немногие. Среди группы женщин и детей, которых подразделения азербайджанской армии взяли в заложники, оказались Арина вместе с сыном Виталиком и годовалой Лёлей (глава семейства – Амо – пропал без вести во время бесчинств в селе). Арина попыталась сопротивляться, но её схватили за длинные пряди, доходившие почти до колен, ударили прикладом автомата по голове. Женщина потеряла сознание, и, когда пришла в себя, малышки уже не было рядом. В плену она тщетно пыталась узнать что-либо о судьбе дочери...

С тех пор много воды утекло. В столице молодой военной республики стоял холодный декабрь 1993-го. Противник был отброшен далеко от города, грохот разрывов прекратился, остались в прошлом многомесячные и почти ежедневные обстрелы и бомбёжки, однако надрыв в сознании остался: образ смерти и разрушения вместе с мучительным вопросом «Когда же мир?» преследовал людей. В воздухе всё ещё витал дух Смерти, глядевшей на человека пустыми глазницами окон домов...

Арина и её сын уже были обменены, пробыв в азербайджанском плену 8 месяцев. Лёля же казалась матери сном. «Была ли она?» – порой предательски кололо в её растерзанной душе.

Найти девочку было непросто. В отличие от взрослых, она не могла говорить, помнить себя и своих родителей, да и взрослые могли не опознать её – ведь потеряли Лёлю ещё младенцем, несформировавшимся живым комочком.

Карабахская госкомиссия по заложникам и без вести пропавшим долго теребила аналогичную госкомиссию Азербайджана. Там обещали помочь, однако надежды было мало.

Однажды морозным вечером майор Костянян, непосредственно занимавшийся переговорами и обменом военнопленными и заложниками, засиделся в своём в рабочем кабинете. Он предчувствовал хорошую весть и ждал её. Офицер почти слепо верил собственной интуиции, обострившейся за годы работы в экстремальной ситуации, когда нередко, чтобы не попасть впросак, нужно было иметь нюх, подобный верхнему чутью у собаки. Костяняну не сиделось на месте, он ходил взад и вперёд по неотопленному, тускло освещённому кабинету. Под ногами скрипел обшарпанный, местами недостающий паркет.

Самые различные мысли, вернее, их фрагменты, обрывки путались в голове, ни за одну он не мог ухватиться. Перед глазами мелькали измученные лица заложников и военнопленных. В их потухших взглядах всё-таки тлели угольки надежды, что кто-то вызволит их из позорного плена, выцарапает у смерти... С калейдоскопической быстротой образы этих надломленных людей сменялись сияющими лицами благодарных родственников... Вдруг появилось злое лицо высокопоставленного чина, уверенного в том, что военнопленные не достойны возвращения на родину, и они – лишь обуза для государства и общества, задаром получают пенсию... «Так куда же им, своим среди чужих и чужим среди своих, деваться?» – невольно подумал Констанян. Тут он вспомнил, как при обмене его самого чуть было не взяли в заложники.

Мысли-воспоминания гнездились в голове, от этого становилось тесновато и в комнате. В такие минуты тянет посмотреть в окно, куда-то вдаль, чтобы хотя бы мысленно раздвинуть давящее тебя пространство. Но майор не приближался к окну: вместо стёкол оно было обтянуто плотным целлофаном, за которым в вечернее время суток невозможно было что-либо разглядеть.

Наконец зазвонил телефон. Костянян вздрогнул, может быть, потому, что ждал этого. Он схватил трубку – знакомый голос на другом конце провода сообщил, что в приюте одного из азербайджанских городов содержится девочка лет трёх, подкидыш. Никто не знал, кто она и откуда. Кто-то привёл её в приют, оставил и ушёл.

– Есть надежда, что это та самая, которую вы ищите, – произнёс далёкий собеседник.

Договорились о встрече. Взамен было решено отдать азербайджанскую девочку-сироту Роксану вместе с нянчившей её в детской городской больнице тётей, родной сестрой покойной матери.

Костанян предупредил Арину, что должен будет взять её с собой на обмен для опознания Лёли. Женщина сомневалась, что узнает дочь. На вопрос, имеются ли у ребёнка родимые пятна, шрамы или другие какие-либо особые приметы, мать сказала, что на темени у Лёли две завитушки...

– Отлично, – задумчиво произнёс Костанян.

Вскоре военный УАЗик вместе с Ариной, малышкой Роксаной и её тётёй отправился на место переговоров. Представитель азербайджанской стороны по имени Назим после приветствия и принятых на Кавказе расспросов о житье-бытье сообщил Костаняну, что в приюте девочке дали азербайджанские имя, фамилию и даже отчество.

«Что ж, война не спрашивает фамилий», – подумал майор.

Наступал волнующий для всех момент. Арине удавалось держать себя в руках, и лишь неестественная бледность и едва заметная дрожь в пальцах выдавали её. Лёлю из приюта несла на руках няня – пожилая женщина с выбившейся из-под тёмной шали прядью покрашенных хной волос. Девочка едва покосилась на присутствующих отрешённым взглядом и уткнулась головой няньке в грудь. Когда Арина подошла и прикоснулась к её предплечью, она посмотрела на неё большими агатовыми глазами как на чужую, но не равнодушно, а удивлённо и немного испуганно. Костанян с Назимом переглянулись: они сразу заметили схожесть Арины и ребёнка. Но свершилось то, чего боялась Арина: она не узнавала родного ребёнка, хотя Лёля осталась почти прежней, казалось, не росла эти полтора с лишним злосчастливых года разлуки. Впрочем, чего было ожидать от маленькой, надломленной, израненной душой и телом женщины, которая сама долгое время была узницей и каждое утро встречала как последнее? Могла ли она верить или просто надеяться, что бурный водоворот войны, погубивший тысячи сильных и уверенных в себе взрослых человеческих особей, пощадит маленькое беззащитное дитя?

Пока Арина в растерянности взирала на ребёнка, Костанян подошёл к девочке и снял с её коротко остриженной головы красную спортивную шапочку. У ребёнка на темени оказались два завитка... Две заветные отметины – это была она!

Арина всхлипнула и потянулась трясущимися руками к ребёнку... Но Лёля лишь крепче прильнула к няне. Костанян попробовал взять её, Лёля закричала: «Ёх, ёх!» и стала вырываться с судорожным плачем.

Детский рёв послышался и сзади. Это была Роксана. Ребёнок, естественно, не понимая в чём дело, тоже залился пронзительным плачем в унисон с Лёлей, проявив своего рода детскую солидарность. Вслед заплакали Арина и тётя Роксаны. Няня, женщина крестьянского типа, успокаивая Лёлю, вдруг запричитала, пожаловавшись на жестокость жизни. Костанян невольно оглянулся и заметил слёзы на глазах своих телохранителей и азербайджанцев: люди воевали, не раз глядели смерти в глаза, но при виде этой сцены камень раскололся бы... У самого Костаняна на глаза навернулись слёзы. Назим отвернулся, вытирая ладонью влажные скулы...

Лёлю все-таки отобрали у няни и передали родной матери. Поблагодарили друг друга, попрощались, сели в УАЗик и поехали обратно. Девочка ревела, не умолкая. Но вдруг наступила тишина. Костанян оглянулся: Лёля, сидя на руках у матери, внимательно смотрела на неё, морща лобик, словно силилась вспомнить что-то. Неожиданно она положила голову на грудь матери и заснула крепким сном, сном младенца. «Кровь всё-таки потянула», – подумал Костанян и улыбнулся. Он сделал это так, чтобы его усталую, измученную улыбку никто не заметил...

Лёлю привезли в дом, где у родственников в полуподвальном помещении Арина уютилась вместе с сыном и матерью. Бабушка сразу узнала внучку.

В первое время с Лёлей приходилось говорить по-азербайджански, она не знала и слова на родном языке. Девочка спала только на полу, не умела пользоваться ложкой. С собой в постель она непременно клала тряпичную игрушку, наподобие куклы, которую она привезла с собой «оттуда». Мать смотрела на неё и плакала украдкой – то ли от жалости и боли, то ли от счастья...

Лёле уже семнадцать, она заканчивает среднюю школу, в совершенстве владеет родным армянским языком и собирается учиться в университете на филолога. Первые три года своего детства она помнит едва – как странный, нелепый сон. Но истрёпанную, угловатую свою куклу, дитя войны, Лёля бережно хранит до сих пор.

Она стала для неё талисманом.

## **РЕЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

**Виктор Коноплёв**

**Дорогой Ашот!**

*(Несколько писем о душе Ашоту Бегларяну по прочтении его книги «Чужой счёт»)*

Дорогой Ашот, сто сорок четыре страницы Вашей книги вместили в себя множество человеческих душ, совершенно разных и уникальных. Такие книги не читаются «запоем», поскольку каждое новое произведение сборника не похоже на предыдущее: где-то фрагмент жизни, а где-то и вся жизнь.

Сборник назван по наименованию одного из рассказов «Чужой счёт». Но, так или иначе, все произведения объединены этой темой. Герои книги проживают собственные судьбы, но в каждой из них – плата за чей-то чужой счёт.

### **Письмо первое. НЕОЗЛОБЛЕННАЯ ДУША**

Дорогой Ашот, как человек, не понаслышке знающий, что такое война, в своих рассказах Вы обращаетесь к этой теме. Но раскрываете её особенным образом. Герои Ваших произведений не бои и ненависть, а люди и любовь.

Была бы моя воля, рассказы «Прощание» и «Орёл» я бы поставил первыми в книге. Не скрою, испытал сильное эмоциональное потрясение, читая их.

Рассказ «Прощание» о трогательной дружбе двадцатипятилетнего армянина Левона и охраняемого им пятидесятилетнего азербайджанца Аваза, комично (если такое слово здесь уместно) попавшего в плен. «Война не спрашивает фамилий и национальностей, разводя людей по разные стороны баррикады». Дружба тоже не спрашивает фамилий и национальностей, объединяя людей, используя богатый арсенал средств Доброты. Дружба не приемлет сведения счетов, даже если в повседневной жизни возникают недоразумения (Рассказ «За дружбу!»).

Левон не просто помогает Авазу, но и, в обход всех инструкций, привозит к себе домой. А когда приходит пора расставания (Аваза обменивают на пленного армянина), пленник отказывается уезжать, пока не повидает своего друга. На глазах у всех пленник и охранник обнимаются и плачут. «Проходящие же мимо медработники реагировали на происходящее по-разному: кто-то плакал сам или сочувственно улыбался, кто-то, наоборот, бросал немой осуждающий взгляд на военного или проклинал его, не стесняясь в выражениях...».

У войны есть конкретные имена. И глупо ненавидеть весь народ, даже если сегодня в бою сталкиваешься с его представителем.

Вот и в рассказе «Орёл» майор Костанян выполняет важную работу: устанавливает местонахождение военнопленных, входит в контакт с противостоящей стороной и делает всё, чтобы пленные могли вернуться на свою родину. Но не все понимают благую миссию майора. Его товарищ Борис гневно реагирует на то, что Костанян, звоня из его дома по долгу службы, говорит с собеседником на азербайджанском языке. Называя себя патриотом, Борис лицемерит. Патриотизм не может вмещать в себя одновременно любовь к своей стране и ненависть к чужой.

Дружба представителей противоборствующих сторон («Прощание»), нежные чувства раненого к медсестре («Сестричка»), трепетное отношение к раненой птице («Затравленная птица»), безграничная любовь к родному краю («Дед Аршак») – прекрасные качества человеческой души, которые война не в состоянии остановить. И наше будущее «зависит от того, насколько мы будем просты и откровенны в отношениях друг с другом, насколько будем преданы своей земле, народу, семье – тем высшим идеалам, ради которых лучшие из нас готовы пожертвовать и жизнью».

Вечные вопросы не оставляют никогда, даже когда стоишь на посту («Ночь на посту»). «Ночь на посту – время философское. Не только предельного напряжения – физического и душевного требует она, но и настраивает на размышления об извечных вопросах о Боге, человеке во времени и пространстве, о жизни и смерти».

О жизни и смерти размышляет герой рассказа «День рождения». Первая мысль раненого разведчика Мовсеса Шахмурадяна: «Если что, живым не сдамся». А дальше возникает образ матери, готовящейся отпраздновать очередной сыновний день рождения. Жажда, как следствие ранения, становится основой философских рассуждений. «Человек – как некий резервуар, не стеклянный, железный или глиняный, а сплетённый густо из живых нервов, которые нуждаются в постоянном поливе. В противном случае они, ноя, умирают. Вот несправедливость – эта прозрачная жидкость, сама так любящая свободу, сделала человека навеки своим рабом!.. Эх, превратиться бы сейчас в лужу, просочиться в землю или же испариться медленно и тихо, без боли и страданий, под лучами солнца!.. Уйти меж пальцев кровожадного и трусливого врага, когда тот, подло выждав, пока он полностью обессилеет, наконец приблизится. У в ы ».

У Арсена, героя рассказа «Ловушка смерти», времени для размышлений не остаётся. Борясь за жизнь, он отрезает кисть собственной руки, придавленной подорванным БТРом. Жажда жизни (рассказ «Жажда жизни») ни на минуту не покидает Армена, удерживая его от тесных объятий смерти.

В рассказе «Сон фидаина» есть поразительное сравнение войны, с огромным желудком, ненасытным и вечно голодным. «Существо это и есть Война, в которую мы вовлечены вопреки воли своей, и конца которой так страстно ждём. Но пока в руках у людей автоматы, они слабее войны». Именно война опустошила прекрасный край деда Аршака с его любимыми пчёлами («Дед Аршак»). Именно война отняла у матери Андрея («Мать») мужа, дочь и старшего сына, а затем поглотила и её саму. «Война – явление противоречащее человеческой сути...» Надо помнить об этом, преодолевая боль души. Ведь, если душа не озлоблена, тогда она сильна. Не так ли, дорогой Ашот?

### ***Письмо второе. УЯЗВИМАЯ ДУША***

Дорогой Ашот, описывая судьбы своих героев, Вы затрагиваете глобальные проблемы, которые люди решают многие века. Две точки отрезка: Добро и Зло. А между ними столько всего!

Недаром говорят, что армия – это концентрированное изображение действительности гражданки. В книге «Чужой счёт» три рассказа «Изгой», «Нелепый поцелуй», «Марш-бросок» повествуют о «дедах» и «салагах», их реальности и потаённой сущности.

В рассказе «Чужой счёт», давшем название всей книге, автор поднимает важную тему уязвимости человека, его зависимость от конъюнктуры текущего момента и порядочности окружающих людей.

«Помимо писанных законов, в жизни были и сотни неписанных правил и норм поведения. [...] То, что вчера казалось незыблемым, сегодня считалось малозначительным, смешным, устаревшим. Согласно этим неписанным законам миропорядка, одни погибали на фронте, другие делались генералами, одни нищали, другие становились хозяевами жизни. Победителем же часто оказывался тот, кто был циничнее, наглее и хитрее других. Всё это было пошло и несправедливо. В пароксизме отчаяния такие принципиальные и сильные духом человеческие индивидуумы, как Вадим, пытались найти, постичь истину в этом море беспорядочного неуёмного и алогичного движения».

Следователь военной прокуратуры Вадим становится жертвой подлога. В рамках расследования дела о торговле трофейным оружием он проводил следственные действия в отношении подозреваемого. Однажды в сейфе Вадима обнаруживают 400 американских долларов. Теперь сам Вадим становится обвиняемым и проходит тернистой тропой унижений и лишений. Для доведения дела до суда нужны признательные показания, и прихвостни закона стараются изо всех сил, унижая человеческую личность. «Удивительно, до чего податлив человеческий материал: как пластилиновых, обстоятельства и условия жизни лепят по-своему



большинство людей!» Вчерашние коллеги сегодня не гнушаются ничем: оскорбления, карцер, побои – всё идёт в ход.

В камере Вадим вёл дневник. «Здесь же, – писал он, – в этой затхлой среде, нет и проблеска надежды на лучшее. Всё, что я понимаю – это то, что существует Счёт, который непременно должен оплачиваться. Кто-то будет платить по этому Счёту, а некто при этом будет вбивать что-то ему в голову».

Счёт этот мы формируем сами: всей своей жизнью, делами праведными и нет. Каждый человек уникален. Каждый человек создаёт свою судьбу сам. И чтобы прийти к времени оплаты счетов подготовленным, надо время от времени останавливаться, оглядывать пройденный путь и задавать себе вопросы: «Куда я иду? Чего я хочу?» И делать это надо в трезвом рассудке, а не так, как это делает герой рассказа «Одиночество, или Разбитое зеркало», поглощая вино и оправдывая собственные неудачи «происками» других людей.

«Настоящий человек, – пишет автор в рассказе «Рождение человека, или Преодоление боли», – это каждодневный тихий и часто не замечаемый окружающими подвиг. Это – постоянная борьба с самим собой и преодоление боли, которая рождается вместе с человеком, живёт с ним всю жизнь и даже остаётся после него».

Сборник составлен так, что вышеупомянутым рассказам о рождении и философским вопросам жизни предшествует рассказ «Агония» о смерти человека. Намеренно автор выстроил повествование таким образом или нет, но мне видится, что он хотел показать читателю, что жизнь – не простая линия от рождения к смерти, а гористая местность, где рождение и смерть не соревнуются друг с другом, но дополняют друг друга, и любая душа уязвима. Не так ли, дорогой Ашот?

### *Письмо третье. ИСТОНЧЁННАЯ ДУША*

Дорогой Ашот, Вы завершаете свою книгу печальной повестью «Циник», которая, с одной стороны, вроде и не вписывается в заявленную тему чужих счетов, поскольку поднимает вопросы расплаты по личному счёту. Но, при детальном рассмотрении «чужой счёт» присутствует и здесь.

История краткой жизни Артёма, простого парнишки, безотцовщины, к великому сожалению, сейчас не уникальна, хотя в своём послесловии Вы, Ашот, настаиваете на обратном. Но сколько таких душ мытарствуют в нашем мире? Это повествование ценно напоминая о том, что личностные трагедии происходят от того, что в какой-то момент человек делает выбор в пользу ложного пути, ведущего в никуда.

В повести есть несколько доминирующих линий, сплетённых воедино, которые, будь они в другом сочетании или же без какой-либо составляющей, породили бы совершенно другой сюжет.

Есть отправная точка: мальчик родился недоношенным в неполной семье. Психологическая травма матери, переживающей о пропавшем муже, уехавшем на заработки, сказалась на ребёнке. Мало того, что он родился слабым, так ещё у него не было соответствующего мужского воспитания, что привело впоследствии к закомплексованности.

Закомплексованность Артёма была другого свойства, нежели закомплексованность его сверстников, к школьным годам утвердившихся в правильности шаблона стадного поведения, где жестокость играет важную роль. Те, кто не вписывался в этот шаблон, объявлялись «белыми воронами», к ним прикреплялись всевозможные ярлыки. Вот и, пусть наивная, но добрая фраза при переходе речки: «Осторожно, мальков задавите!» – стала предметом издевательств над мальчиком.

Пытаясь разрушить сложившееся о нём мнение, Артём совершает свою первую большую ошибку. Быть таким, как все. О, эта страшная фраза, имеющая сильную, губительную для личности, составляющую! Сколько наивных детских душ попали в плен её лживых постулатов. Но этот путь разные люди проходят по-разному. Кто-то впоследствии сворачивает с него, а кто-то, возвращённый на негативных ситуациях личной жизни, всё увеличивающихся последствиях детских комплексов, идёт по нему до конца. Этот путь выбирает Артём. Пытаясь завоевать авторитет, показаться сильным, он выбрал своей жертвой самого хилого паренька и вдоволь

издевается над ним. Этот случай очень показателен в концепции повести. После него «жребий брошен!», раковая опухоль проявила себя, и пути к выздоровлению не будет.

Тем не менее, инцидент возымел своё действие – Артёма больше не трогали. И он со временем выработал новую тактику поведения: «Полусознательно, полуинстинктивно мальчик выработал для себя следующее жизненное кредо – покорно снеси пощечину от тех, кто явно сильнее, но не прощай, а лишь отступи и выжидай своего часа – случай отплатить той же монетой непременно представится; к тем же, кто слабее, не проявляй снисхождения и подчеркивай каждый раз, каждую минуту и каждый миг своё превосходство». Но за бравадой скрывалась всё та же сущность – легкоранимая и вспыльчивая.

Тема отца Артёма возникает в повести лишь несколько раз. И сам Артём не особенно интересуется ей. Лишь единожды, когда станет очевидной связь его матери с участковым милиционером, по долгу службы присматривающим за мальчиком, Артём бросит матери: «Почему именно мой папа должен был бежать?.. Он был слабее и трусливее других?..». Не это ли «чужой счёт», по которому должен расплачиваться Артём?

Этот случай важен ещё и тем, что закрепляет ещё одну сюжетную линию произведения – тему Отечества. Оторванный с рождения от своего отца, впоследствии Артём станет оторванным от собственной Родины. Микрокосм Отечества и его макрокосм сплетаются воедино.

Взрослея, Артём задумывается о будущей профессии и приходит к выводу, что, «имея статус юриста, можно распоряжаться Правом так, как заблагорассудится, что можно совершать всякие правонарушения и даже самые гнусные преступления, формально не переступая черты закона. Что Право всегда оставляет в себе нишу для безнаказанности – просто нужно уметь искусно пользоваться им». Надо сказать, что автор поднял здесь очень серьёзную проблему, достаточно актуальную. Утверждаю это как человек, знакомый с этим не понаслышке, поскольку шесть лет прослужил в системе по работе с личным составом органов внутренних дел. Вы, Ашот, не предоставили читателю возможности стать свидетелями манипулирования Законом Артёмом, не дав ему окончить университет по юридической специальности. Возможно, Вы правы – такое развитие событий отвлекло бы читателя от основного направления повествования – образования нравственного вакуума, самоуничтожения личности.

В то же время Вы продолжаете «усиливать» тему комплексов Артёма. Так, серьёзным препятствием, которого опасался Артём, была боязнь женщин. Это препятствие необходимо было преодолевать, поскольку «этот недостаток серьёзно навредит ему в жизни, помешает занять достойное место в обществе, продвигаться по служебной лестнице». Наблюдая и изучая взаимоотношения мужчин и женщин, Артём делает вывод: «Женщины – кокетливые, слабые и распутные по своей природе существа. Просто нужно подобрать к ним соответствующий ключик, сыграть на нужных струнках души. Тогда перед тобой откроется ларчик со всеми спрятанными там сокровищами». Итогом этой философии становится изнасилование женщины. Но не таким он видел свою первую близость с женщиной. В обездоленной душе ещё теплится огонёк. Насилие над женщиной вызвало целую бурю душевных переживаний и физическую болезнь, не позволившую Артёму стать юристом. Посмотрите, какой ход! Как бы цинично это не прозвучало, но факт в том, что именно изнасилование стало причиной того, что мы не увидели Артёма в роли продажного юриста.

Провалив экзамены, Артёму было стыдно возвращаться домой, и он решил уехать в Россию. «Он обнадёживал себя тем, что справка о годовом юридическом образовании поможет ему устроиться в правоохранительные органы». Желание служить в правоохранительных органах не оставляет Артёма. Психологически это объясняется тем, что сформировавшийся комплекс неполноценности неудачника необходимо чем-то прикрыть. Быть представителем власти, пользоваться привилегиями этой власти – очень хороший способ подавления этого комплекса.

И судьба, после скитаний и мытарств, вроде бы достаивает Артёма того, к чему он стремился. Находится земляк, который к тому же заместитель начальника тюрьмы, у которого похожая жизнь, и который устраивает Артёма работать в подведомственное учреждение. Служить в тюрьме психологически тяжело. Но Артём уже давно пребывал в тюрьме собственной совести. А потому тюрьма реальная стала естественным дополнением. Душа его истончалась, лишь изредка напоминая о себе. Даже присланные матерью гостинцы вызывают в нём не муки

совести, что за четыре года разлуки написал ей лишь однажды, а желание поднакопить денег, приехать на родину и закатить пир – «пусть знают, какой я теперь...»

Работа в тюрьме позволяет Артёму вновь поступить на заочное отделение юридического факультета университета. Служебное удостоверение становится гарантом от нападков, как «лица кавказкой национальности». Показателен случай, когда героя останавливает милиционер и требует предъявить документы. Тыча в лицо удостоверением, он возмутился: «За кого ты меня принял? Или за черномазого считаешь?! Меня – российского офицера?!»

И вроде бы начинаются сбываться мечты Артёма, но Вы, Ашот, останавливаете своё повествование смертью героя от ножа жениха девушки, которую Артём, ради прописки и квартиры, обеспечивает, прикрываясь желанием жениться.

Смерть героя – не жестокость, как того боитесь Вы, Ашот, словно извиняясь перед нами. Эта смерть стала закономерной точкой в бесперспективном пути Артёма, оторванного от своей родины, от близких людей, от самого себя. Потерявшие себя люди, истончившие донельзя свои души, не могут принести в этот мир добро. Не так ли, дорогой Ашот?

***Р.С. «ДОРОГОЙ, церк. драгий, драгой, ценный, многоценный, сравнительно много стоящий; нужный, полезный, желанный, уважаемый; любимый, любезный, высокоценимый». (Из Толкового словаря В.И.Даля.)***

## *Я с детства не любил овал*

Я всё вспоминаю и вспоминаю этого фейхтвангеровского министра-фашиста, которого-де Эйзенштейн своим «Броненосцем Потёмкиным» на какую-то минуту превратил в коммуниста... Жаль, я не Фейхтвангер, и, даже занявшись Ашотом Бегларяном специально (Эйзенштейн у Фейхтвангера случаен и мимолётен), не смогу так ярко описать, КАК Бегларян на какую-то минуту сделал меня приверженцем пацифизма, кем я вообще-то не являюсь.

Я пишу о двух его рассказах: «Мать» и «Орёл». Они такие крошечные, что мне неудобно о них рассуждать. Как бы мало ни написал я – это будет неуклюже. Но я всё же разрешаю себе своё несимпатичное начинание, ибо очень уж редко натыкаешься на игру противочувствиями, а это я считаю единственным признаком художественности.

В «Матери» ложный сюжетный ход состоит в том, что солдат накануне ожидаемого утрома боя, стратегически важного в данной войне, вечером покинул передовую, чтоб повидать мать, и даже удовлетворил её просьбу задержаться больше, чем позволяла ему совесть (мать никогда ни о чем не просила, а тут вдруг попросила). То есть очень похоже на шкурничество. Он боится, что в этот раз погибнет, и хочет попроситься и убогочинить мать как-то. А может, спастись всё же силою её любви, что ли. Она боится того же, уповаает на то же и неосознанно пытается его оградить от смерти, задерживая. В общем, этот ложный сюжетный ход работает на эгоизм.

Война тут особая – в Нагорном Карабахе. Тыл и фронт рядом. Армия, видно, необычная. Можно отпустить самому себя домой, уведомив товарищей. Не возбраняется. Тем более что герой, Андрей, шофёр. Видно, подвозит боеприпасы. То есть окна какие-то мыслимы в его военной работе. Как у Махно в гражданскую: воевали возле своих сёл и хозяйство не запускали.

Итак, эгоизм. Казалось бы.

А в предпоследнем предложении рассказа – другой приватный приоритет: «Доехав же, наконец, не сразу понял слов старшины, который как-то виновато-исподлобья сказал, что загружаться не надо – ребята сами как-нибудь управятся».

В чём дело? Оказывается, мать Андрея умерла. То есть как и в мирное время, полагается-де освобождение от службы – для похорон.

Тут мистика какая-то: откуда они узнали? Но её не замечаешь. (Может, позвонили из города? Может, мать на виду умерла, на людях, а не в пустом доме. Может, выйдя из него поутру. А все всех знают. Город маленький. И где воюет сын умершей, тоже знали. И куда позвонить – тоже...) И вспоминаешь, что не зря она просила Андрея задержаться. Предчувствовала свою смерть? И не зря он вечером с передовой бросился домой, хоть утром бой. Тоже это предчувствовал? Что-то много мистики... Почему? Потому что тут то, ради чего написан рассказ? Ради акцентирования ценности частной жизни? Вон и название – «Мать».

Но в мозгшибает неожиданность: погиб не он, а она. От горя. Ибо убиты уже муж, дочь, старший сын и младший, Андрей, не застрахован. В общем, война. Она губит. И вот – очередная её жертва.

В финале рассказа сталкивается общественное начало («жал до отказа педаль акселератора», «каждая минута на передовой была на счету», «мчался по ухабистым дорогам к позициям») с частным («виновато-исподлобья», «ребята сами», «там, дома, не стало его матери»). И от столкновения этого рождается катарсис – пацифизм: «Нет войне как таковой!»

То есть название «Мать» тут выступает вперёд другим своим значением – рождающим началом в пику разрушающему. Главное в названии – противостояние войне. А не приоритет семейных ценностей.

Некая обманчивость сути, спрятавшейся под явлением, заложена в названии.

И то же – в названии другого рассказа, «Орёл». О той же войне. Лжеорёл там военный фельдшер Борис:

«Поднимаясь на четвёртый этаж, Костянян шутливо упрекал повисшего у него на плече Бориса в том, что тот поселился столь высоко.

– Орлы любят высоту! – парировал Борис».

Однако, хоть Борис и медик, не он там парит над схваткой армян и азербайджанцев, а занимающийся обменом пленными майор Костянян. Борис ультрапринципиален и не хочет, чтоб в его доме говорили по-азербайджански, пусть и ради обмена.

Странность войны подчеркнута и в этом рассказе. Речь об обмене девушки-азербайджанки. Её содержат в армянской семье, как дочь. Костанян, уроженец Баку, для обменов пользуется услугами знакомых азербайджанцев. Приватное в этом рассказе тоже сталкивается с общественным (в лице Бориса). Но победителем оказывается третье переживание, пацифистское. Орлом, парящим над войной, оказывается не ультр-р-рапатр-риот Борис, так и не обратившийся к Костаняну, когда на фронте пропал его племянник, а майор Костанян...

Какое-то барочное соединение несоединимого видится в идеале автора. Причём идеал этот представляется практически достижимым. Автор – исторический оптимист. На такой вывод работает и какая-то, – да простится мне такое выражение, – домашность войны. Свои же люди вдруг ополчились друг на друга! И это хорошая модель для глобальных нынешних противостояний. Не тот нынче век. Слишком близко человечество подошло к границам своего вообще существования на планете. А ведь мы ж все свои же –люди...

Вот, повторю, такую необычность для себя мне, непримиримому, привелось пережить из-за Ашота Бегларяна.

***Соломон Воложин, журнал «Открытая Мысль», №3 (Москва), 31.07.2006г.***

***Иллюстрации Альберта Саркисяна***